

---

## РОМАН

**Тамара Булевич**  
(г. Красноярск)

**ИСЦЕЛЕНИЕ ТАЙГОЙ**  
(Главы из романа)



*Булевич Тамара Анатольевна родилась в Казахстане в казачьей станице Преногорьковской. Писатель, поэтесса, член Творческого клуба «Московский Парнас», член Международного Союза писателей «Новый Современник». Живет в г. Красноярске. О ее творчестве см. очерк Л. В. Ханбекова в т. 4 его «Собрании сочинений (критика)». — М.: «Московский Парнас», 2009.*

Редкий прискальный лес полнился сизой мглой, когда Егор Демин, давя литыми сапогами тяжелые, скользкие ветки, с полудня наломанные вздорным ветром, не торопясь, шел своей тропой к стойбищу байкитского друга Михаила Монго. «Да, батюшка ветрило, покуролесил ты здесь вволюшку, поиграл силой немереной. Ишь, сухача да веток навалил! А все под ноги мне метил! Скачу вот через твои заломы козликком», — ворчливо думалось Егору, то и дело расчищающему себе путь.

Но, несмотря на оставшиеся позади длинные пешие версты по бездорожью, он чувствовал себя лучше, чем дома.

Разрывающая сердце боль притупилась, стихла. Исчезли тяжесть и жгучая горечь. Так происходило с ним всякий раз, в полном отчаянии уходящим от навалившихся бед в тайгу. Но события вчерашнего дня не давали душе покоя, и он возвращался к ним вновь и вновь.

«Повадилась Мария в дом алкашек водить, этих ненавистных мне синюшных куриц. Запели хором: дай на бутылку, дай! Из дома-то тащить нечего, все пропито до последней тряпки. Остались ухват да железна кровать — никому не гожие. Дожился, документы все с собой ношу. Который уж год в одном костюме хожу. Не потому, что купить не на что: уволокет тут же, продаст за шкалик. Тряпья-то в магазине полно, а без бумажки у нас человек — никто. Вышвырнул их, пьянь такую, вместе с Марией за ворота и ушел на работу. Хоть и в отпуске, да печи к себе потянули. Дело есть».

Двойное чувство переполняло Демина после разговора с Задушным. С одной стороны, было даже отрадно, что высказал Валерьяну Модестовичу давно наболевшее, с другой — понимал, — такая «беседа» с первым секретарем бесследно для него не пройдет: остался в зиму без работы, а может быть, и еще хуже...

«Вот, чертяка, лезет и лезет в голову. Леса из-за него не вижу».

Повсюду весело гомонили птицы. Уставшие от непогоды, они солидно расселись

на сухостое, молодом ельнике, чистили перышки и мирно переговаривались между собою, не замечая любопытных Егоровых глаз. Им было не до Егора.

В нише скалы на остром выступе примостился мелкий соколок-пустельга. Намокший и отяжелевший длинный хвост тянул его с карниза вниз. Но сокол только глубже вонзал черные когти в слоистый известняк. При этом часто смешно тряся на одном месте, растопыривал пеструю перьевую шубку, приподнимал крылья и звонко кли-кли-кликал.

Егор остановился и беспрепятственно разглядывал рыже-бурого трясуна. Приподнявшись на цыпочки, он легонько дотронулся до него вытянутой вверх рукой, но птица не обращала на прохожего путника никакого внимания, занимаясь своим неотложным делом.

«Голосом-то схож с чеглоком. Только у пустельги покрик повыше, позабористей».

Словно урезонивая горделивого соколка, на ближней сосне отозвалась спокойной, мелодичной песенкой парочка белых куропаток: «керр... эр-эр-эrr». Они беззаботно раскачивались на ветках в трех метрах от Егора, и ему были видны их бруснично-красные, вздрагивающие при пении брови.

До стойбища оставалось не более пятисот шагов. Сотни раз хоженую тропу Егор знал настолько, что мог пройти по ней с завязанными глазами: дальше она спустится к плоскогорью, лес уплотнится, плавно переходя в темнохвойный кедровник. Не удержался и быстро пошел вглубь его, надеясь срезать к столу несколько рыжиков, но больно встрепенулось сердце, и он присел на пенек.

«Нет, надо хоть самому перед собой выговориться. Может, полегчает, а то ишь как расхотелось мое сердчишко из-за проклятого Задушного. Внутренняя дрожь морщит мне нутро, как начинаю об нем думать».

Демин сорвал у пня сочные веточки брусничника и стал мять их дрожащими пальцами.

«Принесла ж его нечистая именно в тот час — на ловца и зверь бежит. Какое было ему дело до раствора? Сколько требуется, столько и замешу. Своды в печках кое-где подмазать. Вот и взял в гараже старый горшок из-под цветов, приготовленный уборщицей на выброс. «Ты еще в стакане бы развел. Боишься ведром надсадиться!» За все свое существование доброго гвоздя в стену не вбил, а туды же! С указкой рабочему человеку. Конечно, сорвался я, попер буром на него: «Чего, говорю, вы тыкаете. В деды гожусь, а вы мне, фронтовику, тыкаете. С трибуны-то сладкими речами на День Победы рассыпаетесь. Только и помните об нас один этот день в году. В остальные ненавидите старую гвардию: много про вас знаем да не боимся правдой-маткой по бесстыжим глазам стегануть».

Закат догорел, медленно сползая за утес. В лесу заметно потемнело. Со стойбища доносился приветливый визг лаек. Из голосистого хора выделялся знакомый, низкий с хрипотцой приближающийся к нему лай. Это Мишин одноглазый пес Пират несся к нему навстречу, однако, вскоре притих, стал как-то трусливо подвывать, остановился и смолк.

Идя скорым шагом, Егор продолжал всматриваться в кроны поющих деревьев, но споткнулся и глянул на тропу. Неподалеку от него лежало что-то темное, похожее на маленький пушистый кустик.

Подойдя к нему вплотную, обнаружил маленького медвежонка. Увидев незнакомца, тот попытался подняться на лапы, но тут же заваливался на бок. Демин наклонился над ним. «Пушистик» рыкнул и протяжно замычал. «Да ты, дружок, весь в крови. Како же чудище поранило тебя? Коль кровь не запеклась, и часу не прошло случившемуся. А я-то думал, ослышался, когда старое ухо уловило далекий, приглушенный щелчок. Знать, браконьеришко, труба ему в дышло, в тот миг воровски прошмыгнул по Мишиному угодию, встретился с медведицей, с тобой, малыш, спаскуд-

ничал. Вот же сволота! Летом на медведя охота закрыта, но нелюдю закон не писан. Где же мамка твоя, Тунгус,— так тебя буду величать, и что сталося с ней?».

Прикрыв сочащуюся холку медвежонка носовым платком, покрепче прижал его к груди, как прижимал своих маленьких сынков. Тунгус был едва живой. Вздрагивал хрупким тельцем, дыбил шерстку, постанывал.

«Совсем кроха, февральский. Крепись, будем лечиться вместе у знаменитого таежного лекаря Миши Монго. Ну-ну! Не кусайся, мигом доставлю. У меня, дружок, тоже болячек поднакопилось».

В это время к Егору подполз Пират, стыдливо потерся о сапоги и лизнул их. «Привет тебе, привет!» Потом встал на лапы и протянул Демину сильную, натруженную лапу. «Чо, сдрефил? Зверя почуял? Да, он мал ишо, к тому же кровью истек, бедолага».

Пес, принимая справедливый дружеский выговор, прижал уши и виновато завилал хвостом. «Все-то ты, умница, Пиратка, понимаешь. Ладно. Давай, вперед, к Мише».

Они втроем ввалились в чум, взмокшие, запыхавшиеся.

Маленький, щуплый, верткий, с не седеющей головой Михаил, тепло поздоровался, прослезился и торопливо коснулся лица друга не знающей бритвы щекой.

— Вот, Миша, принимай подранка. К счастью, на тропе лежал. В честь тебя, вернее будет сказать, твоего народа, назвал его Тунгусом.

Михаил уже вымыл руки, достал из старого напольного сундука какие-то коробочки, бутылку спирта, марлю и широкий с мужскую ладонь лейкопластырь.

— Моя так ждал Егошка, так ждал!

А сам быстро растирал в порошок белые таблетки, свертывал в тампоны нарезанные ленты марли.

— Держи Тунгуса, буду мыть, мал-мал резать.

— Миш, ты же — друг. Посочувствуй, не могу я это смотреть, боюсь!

— Однако, некогда сипко много говори! Нюхай насытырь и работай! Такой ботцой, стыдно!

Он накрыл полиэтиленом сундук и принялся мыть Тунгусу рану. Тот визжал и вырывался из больших рук Егора, но силенки были на исходе.

— Хоросо, баркачанка\*, хоросо! Моя твоя любви, больно не делай, жалей.

Егор приловчился и уже крепко держал малыша, иногда помогая себе и коленом. Когда операция, наконец-то, завершилась, «ассистент» Демин, дрожащий и бледный, повалился на пол.

— Скоро пей, Егошка, валерянку, помогай. Твоя, однако, соисем слабый стал. Ай-яй!

А Пират уже распластался возле Егора. От избытка любви и жалости он обнюхивал ему лицо и руки, бил хвостом по ногам, словно просил быстрее подняться. Привык при встречах класть свою взлохмаченную голову на егоровы колени.

Медвежонка спаситель определил на жительство за нарами, положив его на мягкий еловый лапник. И хотя сам он улегся на здоровый бочок, Михаил привязал Тунгуса к стойке чума.

— Моя чум гость пришла — друг, Егошка! Моя знай, сто он любви. Миша буди делай кухня эвенка. Наш Алитет, ботцой, однако писатель, добрые народны обыщай сеял и говори правду: от еды руси в зивота один пустота.

И засуетился у очага. Вскоре чум наполнился аппетитным запахом свежей, молодой оленины.

— Вот всегда так! Со мной тебе вечные хлопоты! — забираясь на нары, извинительным голосом заговорил Егор.

— Молци ус! Моя весна сдала, лето сдала. Скоро тайга белый, а Егошка нету. Твоя понимас, как моя рада?

---

\* Баркачан — медвежонок до 1 года, (эвенк.).

— Я тоже скучаю, Миша. Со школьной скамьи не разлучаемся. За брата мне и за всю родню. Плохи мои дела, Миша. За помощью пришел. Душу тобой облегчить.

— Нис-се-о-о-о! Тайга лечи, моя лечи — Егошка хорошо, болезни уйди. Потом, Егошка, говори буди, завтра. Ночью аринка, харги — злой духи месай. Мало лечи. Надо утро, солнце. Миса знай кода. А час еси твоя хоцю, моя хоцю.

В чуме от жаркого очага нечем было дышать. Михаил задрал пологи, и сразу во-круг чума заплясали по кругу причудливые, быстроногие тени.

— Моя важенки доить скоро, шевели огня.

Егор подсел к очагу, подгрреб развалившиеся угли под котел с дымящимся мясом, задумался. И ссора с Задушным опять завладела им.

«Как он змеем взвился, ядовито зашипел! «Ты у меня договоришься — посидишь за решеткой, поумнеешь, если еще где твякнешь про нас с отцом». Тут уж я на крик перешел: «Слава Богу, не 37-ой, руки коротки!» И дале выдал ему про барство, пьянки-гулянки — про чо люди меж собой шепчутся — да дворец райкомовский, на субботах всем миром строимый. Это для двадцати-то райкомовских чинуш. Кричу: «Не лучше ли отдать его фронтовикам, либо старикам да старухам бесприютным? И под детский садик сгодится — тоже не лишний». Тут он вовсе взбесился. Слюной брызжет. Давай, всяко поносить, оскорблять. Оказывается, что за приживалу держит, и проку от меня никакого. Это при одиннадцати-то печках на каменном угле, мною обслуживаемых! Хорек вонючий! Потом метнулся в свой кабинет да так дверями хлопнул, что с косяка штукатурка посыпалась. Пришлось цело ведро замазки заводить, дыры замазывать. Накаркал!»

Было за полночь, когда друзья, сытые, слегка пьяные, обсуждали предстоящую рыбалку. Развалившись на свежих, мягких пыжиках, отбирали нужные блесны для ловли сига. Егор загодя купил их у знакомых промысловиков вместе со спиннингом и двумя удочками. Давно уж привык рыбачить одновременно тремя удилищами.

Михаил удочку не признавал, тихо посмеивался над горе-рыбаком.

— Моя лодка ехай, сети стави, мормышка лови. Потом буди считай, сколь твоя уди, сколь моя. Уха вари у рецьки. Водка брать?

— Как хочешь, Миша.

— Хоцю, хоцю! Моя друг есть!

Вдруг медвежонок заворочался, громко застонал. Михаил легко вскочил и наклонился над пациентом. Но он тут же успокоился, засопел и стал сосать лапу.

— Ай-яй! Моя забый! Нада еси дай!

Монго снова склонился над сундуком, долго что-то искал, отрывисто поругивая себя то на русском, то на эвенкийском. Наконец, извлек на свет длинную соску и выскочил из чума. Вернулся с полной бутылкой свежего молока от важенки. Ловко сунул соску в крохотную пасть спящего Тунгуса, придерживая рукой бутылку, чтобы баркачану было удобнее сосать.

Егор с восхищением смотрел на заботливого, умелого друга. А медвежонок, насытившись, затих.

Утомленные событиями дня друзья улеглись на нарах и дружно захрапели.

Вскоре всех разбудили собаки. Они лаяли отчаянно и тревожно, переходя на хрип и вой. Первым ошалело вскочил Михаил.

— Однако, Егошка, ботцая зверь пришла. Моя знай — амака\*, Тунгускина мать. Амака злой — плохо. Оленя кусай. Нас кусай. Тунгуса надо быстро отдавай.

— Да ты в своем уме ли, Миша! Скоко он крови потерял, ослаб. Рана не загоилась, а ты...

---

\* Амака — медведь, (эвенк.).

— Егошка родилась, зиви тайга, однако, тайга не понимай! Бери скоро руки баркачан. Иди тропа вверх. Моя путь свети. Зверь огня не люби, боитца. Тунгуса скала оставляй. Амака ее забирай. Потом, однако, быстро нада чум. Так делай.

Егор осторожно взял на руки проснувшегося и встревоженного медвежонка.

— Торопи, Егошка, торопи! Моя знай — плохо, ай-яй, плохо. Амака — мать пришел за амакашка. Бери русье плечо, Тунгуса неси рука.

— Плохо это, Миша! Малыш на ногах не стоит, погибнет ведь!

— Егошка сосем глупий, не думай! Миса знай. Амака плохой: ее дети люди взял. Нада скоро Тунгуса отдавай. Не боись, Егошка! Моя твоя прикрывай.

Монго схватил с крючка новенький карабин, недавно подаренный ему сыном Николаем. В ночной полутьме точным, стремительным движением схватил стоящую за нарами палку с накрученным берестяным факелом, поджег его и выскользнул из чума.

Егор со стареньким карабином за плечами и всхлипывающим, тихо мычащим на руках медвежонком поспешил за ним.

Зорька еще пряталась за горами, но небосклон уже высветился ее далекими всполохами.

Егор шел впереди, неся на вытянутых руках перевязанного широкими бинтами Тунгуса. Нес бережно, стараясь не задевать кровоточащую рану и не причинять малышу дополнительную боль.

Михаил сзади светил под ноги Егору факелом и чутко ловил каждый звук спящего леса.

Собаки бежали по следу медведицы, параллельно тропе, метрах в десяти от хозяина. Подъем становился круче, но до скалы было еще далеко. Где-то рядом тяжело заухал филин, потом, словно сорвавшись с дерева, полетел вниз к кедровнику. Встревожились и захлопали крыльями еще несколько проснувшихся птиц. Опять трусливо заскулили лайки. И не прошло минуты, как они, притихшие и скукоженные от страха, негромко заскулили и пристроились к Михаилу.

— Егошка, быстро стой! Амака рядом! Вот он! Вот!

И взвел курок карабина.

— Не стреляй, Миша! Не стреляй!

Егор увидел впереди себя черную, рычащую и наступательно движущуюся на него гору. Остановился — и медведица остановилась. Громко пыхтя, присела, будто -то замерла. Ее отдых длился секунд пять, а показались они вечностью. Конечно же, она сильно устала, пережив тяжкий день, страх при встрече с плохим человеком, непрерывный поиск детеныша.

— Егошка! Пускай баркачан! Бистро! Хоросо, молодеца ! Ходи моя!

Он направил луч факела в сторону медведицы, напряженно держа на вытянутой правой руке карабин.

Лайки осмелели и пытались ринуться на сидящего зверя.

— Тихо лезать! Пирата, к ноге!

Сердито прищелкнул на них Монго. Те послушно прижали уши и слились с тропой.

— Егошка! Сагай небыстро назад чум, смотри амака лицом. Русье — наготове! Посли! Моя амака свети.

Медвежонок, почуяв мать, жалобно и звучно стонал. Волоча ножку, прыгая, валься на камни, вновь поднимаясь, из последних сил тащился к ней.

Медведица, познавшая запах пороха и сейчас, видя перед собой смертельную опасность, вновь приподнялась на задние лапы. Дико рыча, разбрызгивая по кустам гневную пену, медленно пошла навстречу медвежонку. Поравнявшись, лизнула мордочку и опустила над ним. Долго обнюхивала пахнущее лекарствами, забинтованное тельце. Затем страстно и яростно начала облизывать с ног до головы.

И было видно, как отлетали от ее детеныша бинты и лейкопластыри.

Еще с полкилометра, в плотном окружении очумевших, все понимающих собак, Михаил с Егором шли молча, прислушиваясь и оглядываясь. Но, углубившись в кедровник, расслабились, подали голоса.

— Моя рада, так рада. Тунгуска буди живи!

Поднявшаяся над тайгой заря весело раскачивалась на макушках раскачивающихся кедров.

В чуме пахло мясом и багульником. Надо бы поспать, но было не до сна!

Выпив по стакану крепкого чая, друзья покурили и решили сразу отправиться на рыбалку.

— Вода хороша нерви леци.

Большое рубленое зимовье, стоящее посредине стойбища, служило Михаилу и хранилищем, и мастерской. Здесь дальними родственниками, помогавшими старику управляться со стадом олений и домашними делами, шились, украшались бисером одежда из оленьих шкур. Умело выделявались на продажу дорогие меха соболей, песцов и чернобурок. На тесаных полках хранились инструменты, кухонная утварь, постели для гостей. По стенам на металлических крюках развешивались сети, мормышки. В самодельных деревянных ящиках лежала разная мелочь, без которой на охоте и рыбалке не обойтись.

Друзья полезли на чердак. Вяленая сохатина висела на длинных толстых жердях, обдуваемая сквозняком и по-хозяйски обернутая цветастыми простынями.

— Ты, Миша, хороший хозяин. Всюду успеваешь, и старость тебя не гложет.

— Бери, Егоска, домой суха сохатина, уважи моя — охотника. Общай така — не мози Миша одна еси добыця. Другой люди нада давай. Или духи ругай моя, накази. А кому Миша дай? Теперь твоя одна. Родня далеко тайга. Сына Колька, собака така, сосем редко в цюму приеди. Руси стала Колька. Тайга зиви не хоци.

— Давай, Миша! А чо? Я к вяленой сохатинке с детства приучен. Помню, твои родители в интернат нам мешками возили. А тапереча зимой вся еда моя и есть, что отварю картохи чугунок да с грибами ее, да с черемшой.

— А Маса, асис\* твоя, не вари?

Егор нахмурился и обреченно махнул рукой.

— Ты, Миша, совсем другую Марию помнишь. Знаю, нравилась тебе. Она всем тогда была любя. Только где она, та Мария-то? Война и материнское горе давно счервивили ее. А что осталось...эта... дома почти не бывает. Я же — не пьющий. Ей со мной не интересно. Да-а а, пропащая ее душа...

— Всю зисть хоцю зиви с Егоска. Поцему не могу? Там твоя плохо, моя тут без Егоски тоска. Зацем так? Тайга твоя любя, зиви тайга.

— Спасибо, друг, да не один я. Хоть Мария и бомжует, а все же — жена. Не брошу. Пропадет. Эта беда ее от сынков наших, войной загубленных. По ним сохла, а последний год запивается. Поначалу думал, чем горем захлебывается, так пушай лучше с подругами веселится. А оно вот как обернулось, веселье-то... Мария-то не так уж и пьет. Годы-то каки, хоть и младше меня на десяток лет. А бабы истые лонтрышки, опоицы. Обобрали нас до нитки. В доме стены одни стоят, от стыда да грязи мыкают. Видать, сей мой крест до гроба несть.

— Поцему Егоска Масу не уци, не побей?

— Давно рук на нее не подымаю, а ране бывало и взгривал не раз. Дак где там! По всей фактории дурой носилась: «Убиват, убиват, лешак печной». В сельсовет меня таскали. А вот ее за гульню да пьянство не тревожат. Пробовал взаперти денно-ночно держать. Так она, лихоимка, всякими хитростями сбежит к своим собутыль-

---

\* Асис — жена, (эвенк.).

никам. Как медом там намазано. Скоко мужиков привадили в свою сатанинскую компанию — счету нет.

— Ай-яй! Егوشка не музык! Нада брай толста веревка, ее зопу — бий раз-два-три. Буди солкова. А Егوشка — буюн-олень!

— Это еще почему?

— Дак, он ботцой-ботцой роги носит, а забодать никого не мозет.

Затарив доверху рюкзаки, друзья погрузили их на тачку с бочонком и спустились к Тунгуске.

И закипела работа, таинство, священодейство, что всегда предшествуют началу настоящей рыбалки.

Егор прошелся вдоль берега и выбрал место попорожистой, где по опыту прошлых лет обычно плескались непуганые монговскими сетями жирные, серебристые сиги. По совету «бывалых», насыпал между валунами вареной пшеничной крупы. Она горками опустилась на дно, но часть ее струями волн унесло в стремнину.

«Теперь сиг сюда валом повалит».

Михаил вытащил из ивняка лодку и загрузил ее подаренными Егором сетями. Внимательно осмотрел две старенькие мормышки, покрутил их, сложил гармошкой и бросил поверх сетей.

«Моя Егорка покажет, как лови стари эвенк».

И исчез за утесом, угрюмо нависшем над темными водами Подкаменной Тунгуски.

Таковы были исходные амбиции бывалых рыбаков. Договорились: рыбачить, пока жор не прекратится. Сигналом к завершению рыбалки должен послужить большой Егоров костер.

Оставшись наедине, Демин, позабыв про все на свете, поддался азартному и властному желанию — наловить побольше сига!

Длинный, нескладный, с белой головой на тонкой шее, в стареньком бесцветном трико, в потерявшей полосатость тельняшке, он метался между удилищами и был похож на невиданную никем чудную птицу. Она то взмахивала крылами-палками над пенящимися порогами, то приседала на мокрые камни и почти сливалась с ними. А то вдруг принималась, неуклюже прыгала по замшелым, скользким валунам. Едва удерживая равновесие и прилагая видимые усилия, изо всех сил старалась не спикировать со всего маху в белокрылые, шипящие буруны, стремительно уносящиеся за утес от неприветливых, больно бьющих каменных разбойников.

Егор, освоившись с «полетами» над удилищами и не вынимая их из воды, стал делать одну за другой подсечки. Тунгуска, хотя и рябила, но между каменными глыбами, как в больших аквариумах, вода была спокойней. Здесь стайки серебристых туполобых сигов деловито рассматривали непривычный их глазу интерьер. Неторопливо поедали прикорм, с любопытством присматриваясь к чему-то непривычному глазу, блестящему, похожему на неизвестную мелкую рыбешку. Самый увесистый сиг, лениво отворачиваясь от незнакомки, задел хвостом вздрагивающую на струе обманку. Та словно ожила, испуганно метнулась под камень, и ненасытный богатырь молниеносно заглотил ее.

И пошла-а-а, пошла рыбка!

Егор едва справлялся с небывалым клевом. Его вместительный короб скоро наполнился до краев. Крышка не закрывалась. Сиг шел и шел.

«Куды боле-то! И этого за глаза хватит на уху да посол. Ишо дней впереди — ой-ей! От души нарыбалюсь».

Снял с себя тельняшку, натянул поверх перегруженного короба, затянул рукава на два крепких узла и поплыл с увесистым уловом к берегу.

Над тайгой разгорался жаркий, безветренный день.

Сыто облизываясь, к Егору стрелой летел Пират, видно, тоже удачно порыбачивший в прибрежных зарослях ивняка, куда частенько выбрасывалась ошалелая от ударов о камни мелкая рыба.

— Чо, Пиратка, небось, уж по уши объемшись? А я вот гостинец тебе несу, не побрезгуй, дружок, сигатенкой!

Ласково потрепав пса по упитанным бокам, Егор развязал короб и бросил ему первого попавшегося в руку сига.

— Ешь, ешь! Жирком обрастай, наливайся. Так-то твое собачье житье веселей покажется. Да и зима мене кусат, когда шерсть лоснится.

Пират стал играть со скачущей по галечнику рыбой, подкидывая ее выше и выше сильными лапами. С удовольствием понаблюдав за ним, Егор, подправил кремнием лезвие таежного ножа и принялся пластать двух-трех-килограммовых сигов под зимний засол. В его многотрудных руках всякое дело ладилось. И скоро он добрался до днища короба. Там, повиливая хвостиком и радужно блестя на солнце крупной чешуей, лежал его сегодняшний «первенец».

«Не обессудь, придется тебе ишо повременить, другу моему показаться».

Егор вырыл саперной лопатой яму, залил водой, бросив туда красавца сига.

«Не балуй у меня!»

И накрыл его сверху коробом.

Тайга только разгоралась багряными пожарищами приближающейся осени. Березки стыдливо и робко развесили редкие золотые сережки. Под порывами ветра они разлетались по темной зелени кроны то рваными лоскутами золотой парчи, то ярким, кружащимся солнышком, а то повисали кверху дном небывалой формы бокалами.

Рыжими пятнами обозначились в хвойниках осинки, еще не вспыхнувшие алым румянцем.

На взгорке у кедрача играли с ветром чуть побледневшие лиственницы.

Егор на минуту задержал взгляд на лесном просторе и отметил, что лета осталось на одну ладошку.

— Пойдем-ка, Пиратка, за сушняком. Пора костер разводить, хозяина домой зазывать. Поди, с уловом умаялся, ишь, как запозднился.

И вскоре высокое пламя костра взвилось на каменистом берегу. Душистый синий дымок потянуло далеко за утес. На душе у Егора стало спокойнее.

«Не довел бы сердце до такой раскоряки, если б ушел из райкома сразу после первой стычки с хозяином. Зря поддался уговорам Катерины Алексевны: «Надо дотянуть до нового райкома. Здание передадут другой организации. Где еще найдут такого хозяина печам!» Понятно, Катерине Алексевне не хотелось видеть меня «домовничим». Она одна из райкомовских знала все об моей жизни, Марии...

Хотя от себя далеко не сбежишь, а все бы легче сердцу... Уйти с работы — полбеды. На пропитание заработаю: русские печи досыта кормили семью во все времена. И ноне они в большом спросе. Не об этом печаль. Обидно, стыдно за партию, коей принадлежу и служил верой-правдой до нынешних времен. Тапереча уж не с ней я! Не с задушными. Они-то и довели народ до нужды заново перестраивать страну. И опять толком, по-честному, ему об том не сказали. Оно, конечно! Какими глазами смотреть! Тянули из него жилы, кричали «ура!», коммунизмой вот-вот обнадеживали. Оказалось, не в ту сторону тянули, не ту социализму построили. Вот же пакостники! Все наши натуги — коту под хвост! А вожди не удостоили даже рядовых коммунистов-тружеников разговора за свое преступное руководство. Никто не посчитал нужным признаться народу в тупости своей, воровстве и предательстве. Нет, Демин, с такой шарашконторой заканчивай! Не ты, а задушенские сотоварищи, труба им в дышло, отныне — ядро ее. Чо путного дале ждаться-то?!».

Заслышав всплеск весел, Егор поспешил к реке. Мишина лодка под тяжестью груза осела, едва не зачерпывая краями воду. А сам он, стоя, радостно приветствовал друга поднятыми веслами.

— Где тебя лешие носят, сучок кедровый! — нарочито грубо отозвался Егор.

— Моя Егошке рыбы красни лови, стерлядки помай, ягоды собирай.

— Вечный трудяга мой, неугомонный! Давай, помогу выгрузиться.

Они вытащили лодку на берег подальше от воды и начали бросать на брезент улов старого эвенка.

— Вот это тайменище! Да как ты втащил-то его? Ну и ну... Нет, Миша, силушка в тебе еще временем неотнятая. Дай-то Бог! А стерлядки-то ско-о-ко! Ты просто водяной царь, Миша. Это же надо так рыбалить. Я сдаюсь. Твоя моя победи!

Михаил заулыбался и занялся котлом под уху. Долго тер его песком, полоскал в реке, и только потом, отойдя подальше от ивняка, зачерпнул из стремнины летящей водицы.

— Моя сама ухи вари.

И таинству его над котлом не было конца.

Егор за это время почистил рыбу, часть нанизал на ивовую лозу для провяливания, но в основной улов засолил в кедровом бочонке. Долго и внимательно освобождал стерлядь от визиги, хорошо промывал ее и бросал на раскаленную сковородку для обжарки. «Завтра Мишу пирогом с визигой накормлю, он любит. Тайменя пусть сам солит. У меня такого навыка нет».

Солнце уже накальвалось на уносящиеся далеко в небо пики вековых хвойников, когда друзья удобно уселись у костра. Михаил наполнил доверху миски с дымящейся ухой и большими кусками добытых им деликатесов. От котла исходил такой аромат, что сводило скулы от разыгравшегося у рыбаков аппетита.

Ели и пили долго. Костер давно опал, но друзья поддерживали его лапником, от которого исходил густой, смоляной дым. Благодаря ему, черные тучи голодной мошки оставляли в покое разговорившиеся, истосковавшиеся друг по другу души.

— Так много тебе рассказал. Горько от всего этого, Миша. Куда ни кинь, везде редька да дрын. Горько думается и про наше общее житье. Слушаю, читаю — тоска разъедает душу. Они доперестраиваются! Нутром чую, должен буду и за лес им плавать. За угоды, стало быть.

— Егошка умный, моя не понимай...

Старый эвенк напряженно вдумывался в сказанное Егором, выбивая в костер нагар из потрескавшейся трубки. Долго и тщательно уминал в нее табак, долго раскуривал, глубоко, до кашля, втягивая в себя ядреный, щекотливый никотиновый дух.

— И за аргиша\* деньга дать? Зачем плати! Тайга мой, олень моя — чужой не брал. Моя плати нету. Скажи твой райком, наш Ленин так не делал. Твоя начальник, однако, сосем харги — дьявол, жадный зверь. Монго так понимай. Еси делай, как он, думай, как он — беда иди, всех беда кусать. Скажи ему, Егошка!

— И не надейся! Он меня так и послушает! Кабы мне грамоты поболее, я бы с ним пободался. А то, кто я для него? Мусор. Дворняга непородистая. А они — партийное начальство — держатся, вроде графьев. Задушный на меня волком глядит, бугаем бычится. Ну, и пусть, труба ему в дышло. Хоть возьми самые что ни на есть верхи. Все хитруют. Вокруг да около. Поди, давно уж и без народа со страной порешали. Жаль, что решальщики — все они и есть — задушенские. Миша, помани мое слово, труба им в дышло, перестройщикам, под их командой жить станем. А они ни стыда, ни греха не ведают. По райкому вижу, где пять лет печником отслужил. Блудуют да

---

\* Аргиш — кочевание, перекочевка, (эвенк.).

жируют на народных харчах. Об Ленине давно позабыли. Даже, бесстыдники, скомо-рошничают над ним. На кумаче слова евоны наляпают — поминка для виду. А сами-то в бары метят, козе понятно. Ихней своре по иному править затребовалось. Стало быть, перестроят нас в свою выгоду. Хорошо, коль в живых останемся.

— Не скажи, Егошка так! Моя боитца.

— А чо нам с тобой бояться? Дале севера не сошлют. А он нам — отец родной.

— Однако, страшно, Егошка. Моя, твоя — кем буди?

— А никем. Были никто — нищими — ими и помрем. Зато нутром наше, Миша, побогаче будет некоторых, кои при власти. Только кто нам в души-то, когда глядел? Мы для властей — прах.

— Моя, однако, не знай прах.

— Ну, что ли, горсть земли. Понял?

— Да, понимай.

Друзья замолчали, углубившись в нелегкие раздумья. По их старческим лицам одна за другой пробежали тревожные тени.

— Вот думаю, Миша, об нас с тобой. Не за то воевали. Сынов за родину положили. А что она, родина-то, тапереча делает с нами. Из года в год тянулись на нее, а легче не ставало. Ты, окромя тайги да аргиша, ничего доброго не видал. Я тоже. Охотничал, русскими печами людям дома согревал. Все ж по совести, жили, как могли. Работали до десятого пота, мозоли набивали, сынков ростили. Только где они, кормильцы-то, радость наша? В могилах братских. Твоих двое и трое моих. У тебя хоть Николка после войны народился отрадой, да внучатки. А я ж так деток люблю...

И Егор тихо заплакал. Михаил, тоже смахивая со своего худого лица слезы, участливо прислонился к плечу друга, гладил ему шершавые ладони. Еще всхлипывая, Демин тихо продолжил:

— До сего дня чужой копейки мы с тобой, брат, не поимели. До глубокой старости своим горбом хлеба добывам. Тайгой да рекой кормимся. Стало быть, хоть и прах мы, да нужный для жизни, не пустой. На нашем-то прахе всяка добрая травинка охотно вырастит, а то ягель на щипок оленю. А на задушенских, вырождков народных, взростится один чертополох, либо дурман какой.

Костер затухал, гореть было нечему, и друзья отправились на взгорок за валежником. Насобирали его так много, что еле доволокли тяжелые вязанки.

И вновь жаркое кострище согревало их на свежем ветру.

— Миша, ты же сам видал, знашь, что коммунистом я был принят в окопе. И вовсе не по принуждению, как тапереча злыдни калякают, а по собственному большому желанию, по воле вольной. Под пулями за чужие спины Демин не прятался. Кровушкой не раз землю полил. Завсегда за партию горой стоял. Так до последнего дыха и был бы с ней, кабы она не стала другой, таперешной. А была б делами и душой, как наша Катерина Алексевна Селезнева, низко бы кланялся ей. Я Катерину Алексевну одну из райкомовских за коммунистку и секретаря признаю. Настоящая партейка! За наживой не гонится, завсегда к людям с уважением, помощью. Однако, времечко, Миша, не ее. Другое время грядет. И партия другим нутром наполнилась, под другой уздой ходит — задушенских. Только в их упряжи ходить не стану. Другого табуна я конь.

Егор вдруг решительно поднялся, отыскал свой рюкзак и вытащил из него небольшой, завернутый в газету сверток, перевязанный шпагатом. Ножом вспорол его, вынул маленькую красную книжицу и протянул ее Михаилу.

— Гляди, Миша, и запоминай момент. Это мой партийный билет. Нет, не тот, что мне вручали в окопе, и за который я любому выгрыз бы глотку. Мой, родной партийный билет где-то в архивах заточен. Вот ему и буду верен, пока бьется мое сердце. А этот...

Егор брезгливо сморщился и бросил свою краснокожую партийную принадлежность в костер.

— Горите вы синим пламенем, труба вам в дышло, задушенские переродыши!

И сел рядом с другом. От волнения ли, быстрого ли отрезвления Егора Демина бил озноб, дергались веки и дрожали руки.

— Моя Егошку уважай, всегда с Егошка!

Прошло три дня и ночи, как Егор потерял сознание. Несколько минутами спустя после сожжения своего партбилета. И Михаил, не отходя от него ни на минуту, отчаянно пытался вернуть друга с того света своими таежными премудростями и камланием.

«Миса мали-мали саман, сына саман. Над Егошкой камлай делай, арван-ми\* делай».

Напившись настоек из лесных кореньев и трав, Егор беспробудно проваливался из одного сна в другой. Старый эвенк кружил над ним чудо-птицей в блестящем цветном оперении. Со звенящим в быстрых руках отцовским бубном, Михаил Монго гортанно распевал одному ему известные заклинания, трясся в трансе до изнеможения, призывая на помощь мудрых духов и шамана-отца.

Но этой неистовой битвы за жизнь друга Егошки Демин не видел и не слышал, находясь в глубоком, непробудном забытьи. В добрых снах ему светило яркое солнце, он был молодым и счастливым. Ему снилось, будто к нему в интернат с гостинцами приходили родители, сидели на коленях маленькие вихрастые сынки, и он ласкал их. Потом целовался с красавицей-женой Марией. Угощал за своим столом сигами и таежными ягодами Катерину Алексеевну Селезневу...

Когда Демин открыл глаза, то был удивлен Мишиному наряду. Ни о чем не спросив его, одобрительно улыбнулся. Друг показался ему усталым, постаревшим. Но, увидя на его лице радостную ответную улыбку, бодро поднялся с нар.

— Я скоренько сбегаю за чум!

У Егора было приподнятое настроение. Что происходило с ним в эти дни, он не помнил. Никаких болей не чувствовал, и только легкая дрожь в теле вернула его в якобы вчерашний день.

«Вот это порыбалили!»

Заглянув под навес, где обычно Миша держал соленья в зиму, обомлел: ни тачки, ни бочонка с рыбой там не было. И сигов на лозе тоже. «Да мы чо, сморчки старые, на берегу улов оставили!»

И пулей влетел в чум. На полу, уткнувшись лицом в золу очага, лежал Миша. Он спал мертвецким сном, и разбудить его Егору не удалось. «А Пиратка-то где?».

Наскоро одевшись, спустился к берегу. Там все висело и лежало на прежних местах. Пират, с чувством исполненного долга, устало потянулся и сдал вахту. Голодные, не понимающие, почему хозяин так надолго оставил их на берегу, лайки, однако, не посмели нарушить его строгий приказ — «Сторози!». Освободившись от обязанностей, они мигом взлетели на взгорок, к стойбищу, где в кормушках всегда было чем поживиться.

Демин — ходка за ходкой — перетаскивал дорогую добычу под навес. А Михаил продолжал спать.

Уж вечерело, и тихий закат алыми лентами закружил над кедровником.

Егор сидел у чума и выстугивал себе палку — искалку с вилочкой на конце для завтрашнего похода за рыжиками да груздями.

---

\* Арван-ми — оживление, (эвенк.).

«Вчера как-то непонятно день закончился. Помню только, как бросил в огонь партбилет, как тлел он медленно синим, угарным прощанием. И было очень больно за прожитые годы. Нет, я сделал все верно — и с Запашным, и с партбилетом. А дальше — ничего не помню. Вроде, и не пил лишнего».

Слегка пошатываясь, к нему шел Михаил. Он беззубо и широко улыбался.

— Моя, однако, мало спал.

— Ничего себе — «мало», почитай день-деньской дродрыхал. Ране такого за тобой не примечал. Завтра по грибы пойдём.

— Ай-яй! Твоя, Егошка, один ходи. Моя есть охота, тайга.

— Да, вспомнил! Ты же ими брезгуешь.

— Они — поганые.

— Поганые?! А я думаю, кроме комаров да мошки, другого поганья в тайге нету.

— Предки говори, мама говори. Черный дух там живи. Не ешь их, друг Егошка.

— Ну, уж нет! От такой вкуснятины нос воротить — не царское это дело. Я сыроежки жевал, когда по подворью голой попой ползал — и ничего! Она вымахал, здоровенный мужик. Всю войну с тобой по стылым окопам корезились в одних дражных шинельках — а не кашлянули! Ты поешь, Миша, скоко знаю тебя — почитай с малолетства — одну и ту же небылицу: поганые, поганые. Вовсе уж мхом порос, пень словый. Небось, в третьем тысячелетии тоже попасть в жильцы метишь? Так подравнивайся! Помню, в интернате впереди меня завсегда поспешал!

— Моя краска не менял: тайга был, тайга есть.

— Грибы — они, конечно, деликатности требуют. А ты, поди, ешь не те, не съедобные. Хошь, покажу моего вкуса, что и сырыми не потравишься. Вот, к примеру, рыжик, грибок отменный!

— Ай-яй. Моя тоснит...

Следующий день они провели врозь, занимаясь каждый своим делом. Егор набрал короб с верхом молоденьких рыжиков, сырых груздей и чуть обозначившихся коричневой шляпкой белых грибов. «На всю зиму наслажденье».

Михаил принес в подарок другу дородную копалуху и трех «жирнющих» уток.

Они сидели на поляне за навесом и доводили до ума дары тайги. А вечером снова спустились к реке, развели костер.

— Хос, анекдот про цюкцю? Сын Колька науци.

Егор оживился и с любопытством посмотрел на Мишу.

— Ну, блин, даешь, с тобой не соскучишься!

— Слушай. Сиди цюме муза с зеной. Она спроси: «Поцему все зови нас глупи, тупой?» «Да ми — во!» — и муза стучи своя голова. «Кто-то цюм стучи!» «Сиди, моя дверь сам открой».

Друзья весело рассмеялись.

— Миша, а я тебе сейчас быль расскажу. Тут по весне витютень к подворью моему прибился. Морозец в те дни лютовал люто. А голубок дикий, да умный. Я ему чердак открыл, он и юрк туды. Видать, здорово намерзся, бедолага. Все живое тепла хочет. Кому непогодь по нутру? Денек отогрелся меж сухих трав да и отыскал в сарайке старое корыто, где осталось пшено от последних кур. Их-то до единой Мария на закусь подружкам снесла. Витютень погостевал ишо пару деньков и улетел. Было это аккурат в день пасхи. Может, весть мне каку приносил, а, Миш? К чему бы, не знашь? Ты же, лесной ведун, до всего ушлый. Меж мирами витаешь, людей лечишь. Вот и мне с тобой полегчало.

— Миша — знай! Егошка потом говори.

Ранним утром Егор засобирался домой. Михаил сник, запечалился.

— Не горюй, друг. Приду по осени, порыбалим.

**Валерий Богушев**  
(г. Воронеж)



## **ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕСБЫВШЕЕСЯ** (Главы из романа)

*Валерий Иванович Богушев наш постоянный автор (см. «ПЗ» № 2, 2008 и № 4, 2008). Сам он пишет о себе: «Мне 50 лет, русский, родился 10 ноября 1956 года в г. Калининграде. Работаю ведущим инженером-конструктором на одном из воронежских заводов. Имею многочисленные публикации в периодических изданиях рассказов, некоторые из которых вошли в мою не совсем фантастическую книжку «Хозяин Вселенной» (2000 г.), популярных историко-краеведческих очерков, статей о современной литературе, в том числе Г. Маркесе, П. Козьмо и др. Помимо местных изданий — журналов «Подъем», «Воронеж», еженедельников «Берег», «Здравствуй», «Вечерняя газета», «Страж отчизны», «Воронежские вести», «Юго-восточный экспресс» и др., — печатался в «Литературной России», «Литературной газете», «Известиях», хабаровском журнале «Наши семейный очаг».*

*Повествование «Путешествие в несбывшееся» — о судьбе интеллектуала в провинции, охватывающее период от эпохи застоя до шоковой терапии и дефолта. Это исчезающий ныне герой. Странно, что этого почти никто не заметил.*

*Краткое содержание романа:*

*Игорю Дорогову, тридцативосьмилетнему научному сотруднику одного из уцелевших НИИ приходит телеграмма с приглашением в Москву на встречу с однокурсниками. Как раз в это время всех работников отправляют в отпуск без содержания, так и не выдав задержанную зарплату. Выпускники его группы собирались в столице раз в пять лет. Ни на одной встрече до этого Дорогов ни разу не был, хотя не существовало каких-либо внешних препятствий. Теперь же, в самый неподходящий момент...*

*В студенческие годы он был влюблен в амбициозную девушку по имени Оксана, которая вскоре после ссоры вышла замуж за другого. Он уезжает по распределению в провинциальный город.*

*В годы перестройки Дорогов изо всех сил пытается выбиться в люди. Ему мешает коллега Прищепкин, приближенный к руководству НИИ, которому совсем ни к чему конкурент. В конце концов Дорогова заметили, меньше стали отвлекать от работы. Не раз посылали его то в министерство что-нибудь доказывать и выбивать, то на переговоры с инофирмами. Дорогов защитил кандидатскую диссертацию в июле девяносто первого года на своей «родной» кафедре. Через месяц после защиты он отправился в Москву по делам производства, а заодно, получить диплом кандидата. Он выехал в воскресенье, а прибыл на Казанский вокзал утром девятнадцатого августа.*

*Вечером участвовал в строительстве баррикад из садовых скамеек, строительных плит и арматуры на подступах к Дому Советов со стороны набережной Москвы-реки. В последующие дни, словно шальной, ходил по московским улицам, захвачен-*

*ный вихрем судьбоносных событий, трогал броню танков, прибывших для защиты «Белого дома», проникался настроением толпы на митингах, но втайне, больше, чем дыхание истории, его притягивала возможность встретить в этом развороченном муравейнике Оксану. Но он ее так и не встретил.*

*Он мельком увидел ее на Арбате в сентябре 93-го после встречи у Белого дома со своим начальником, прибывшим для защиты Верховного Совета. Это была последняя командировка главного героя.*

*После приватизации производство пришло в упадок. Дорогов продолжает работать над автоматической установкой для Питера, в надежде, что все вот-вот наладится. Жена уходит от него к другому, а вскоре он получает квартиру. Обмыкает ее с тремя уцелевшими после всех сокращений коллегами, увлеченными политическими распрями.*

*Перед Новым 1996 годом он встречается со старой знакомой Люсей, с которой был однажды в колхозе. Новый год они встретили вдвоем. Люся богата, и «классовые различия» постоянно дают о себе знать. Люся выходит замуж.*

*Итак, главному герою срочно нужны деньги для поездки в столицу. Как всегда, ему помогло везение. Разбогатевший коллега приглашает его домой помочь дочери разобрататься с компьютером и платит вперед за несколько занятий.*

*Правительство объявляет дефолт. Дорогов был зол и растерян и едва удержался от соблазна, потратив баксы, запастись впрок рисом, консервами и сахаром. Решил: будь, что будет.*

*Перед отъездом в Москву Дорогов встречает отца Оксаны. Тот показывает письмо от нее, из которого становится известно, что Оксана разведена и тоже оказалась у разбитого корыта.*

*Во время торжества главный герой покидает кафе и отправляется к Оксане.*

\* \* \*

В огромном помещении, заставленном ровными рядами запыленных столов, кульманов и стеллажей с приборами, на крошечном пятачке возле окна сидели за рабочими местами трое спецов. После череды пронесшихся, как цунами, сокращений последних лет во всем отделе уцелели лишь трое.

Они почти не разговаривали этим чудесным августовским утром, пробивавшимся солнечными лучами через полуистлевшие пыльные занавески, которые давным-давно уже никто не трогал. Стоило потянуть за ветхую, некогда кипельно белую парчу, как она расползалась, сверкая новыми прорехами, и осыпая клубами праха, словно жизнь замерла здесь не несколько лет, а, по меньшей мере, нескольких веков назад.

Игорь Дорогов, кандидат наук, в очках, джинсах и застиранной турецкой футболке с синим северным орнаментом пощелкивал клавиатурой компьютера. Он набирал текст технических условий на противоугонное устройство для автомобиля. Эту очередную электронную поделку, предложил запустить в производство отдел маркетинга. Схему устройства чертил за соседним столом Вестилов, крепкий мужчина пятидесяти двух лет с космами давно не стриженных русых, с проседью волос. Скорее всего, он обходил парикмахерскую стороной не для создания богемного имиджа, а по простой и прозаической причине — из-за хронической нехватки денег.

Третий сотрудник по фамилии Прищепкин с самого начала рабочего дня не отрывал взгляда от включенного монитора. Около половины одиннадцатого к попискиванию его компьютера добавился шум пара из закипевшего на электрической плитке древнего чайника с отбившейся кое-где эмалью.

Игорь, как всегда, на крышке намагничивающей установки заварил в стеклянной колбе чай, который покупали вскладчину. Народный умелец, «слесарь-интеллигент» Максимыч, который в свое время доводил до ума новые разработки, воплощенные в

электронике и металле, уже два года, как ушел на пенсию, а привившаяся благодаря ему традиция «всем коллективом» пить чай была все еще жива. Правда, теперь приходилось экономить, и заварка в колбе получалась светло-янтарного цвета, а не дегтярного с рубиновым отливом, как раньше...

Первым нарушил молчание Прищепкин.

— Сколько уже разработок сделали, а толку никакого. То денег на производство не могут найти, то цена слишком большая. Мужики, не надоело вам бесплатно работать?

— Лучше хоть чем-нибудь заниматься,— ответил Игорь, когда почувствовал, что вопрос коллеги повисает в воздухе.— Работа — это теперь такая роскошь! Скоро с нас будут деньги брать за вход на проходной.

— Вот коммунаки что натворили! Ты заметил, Игорек, власть поменялась, а они все на своих местах остались. Вчера дочитал документальную книгу — сколько там горькой правды, которую скрывали от нас за толстыми дверями бронированных сейфов! — с какой-то злой сосредоточенностью произнес Прищепкин, отрываясь от игры в карты с компьютером и доставая из ящика стола большую керамическую кружку, коричневую снаружи и белую внутри. Из-за короткой «канадки» и суетливой энергичности он выглядел моложе своих пятидесяти. Семен Семенович был раздражен, как все, что последнюю их нищенскую зарплату за прошлогодний декабрь выдали в мае, а на улице уже август, и усматривал в этом прямое следствие семнадцатого года.

— Сейчас одну брехню печатают,— не удержавшись, вмешался в разговор Вестилов. Он всю жизнь состоял в единственной оппозиционной «партии беспартийных» и вступил сразу в РКРП, «Трудовую Россию» и «Фронт национального спасения» в девяносто третьем, когда в газетах и на телевидении разгоралась кампания против «красно-коричневых». — Сам-то чего в КПСС делал двадцать лет?

— Меня обманывали всю жизнь. Я только сейчас прозревать начал,— Прищепкин повернулся к Игорю, который, несмотря на свои «под сорок», считался молодым, заранее зная, что Вестилова не переубедить, завяжется ежедневный изнурительный спор с одними и теми же надоевшими аргументами, все кончится тем, что оба уже будут готовы к рукопашной и, спохватившись, разойдутся, обиженные друг на друга, с подскочившим давлением.— Игорек, вспомни, какая раньше жизнь была. В магазинах шаром покати. Одна «эстонская» колбаса лежала по два сорок, которую собаки не жрали, да килька в томатном соусе. Раз в месяц разыгрывали пять пайков на весь отдел с «любительской» колбасой и пачкой бутербродного масла. И Вестилов опять нас хочет туда вернуть.

Игорь Дорогов понемногу сочувствовал обоим спорщикам, склоняясь то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, сколько денег лежало в кошельке. Он одинаково охотно читал анпиловскую «Молнию» с листовками, которые подсовывал один, и «Известия», которые приносил другой. Обе позиции казались по-своему правильными, и голова шла кругом от противоположных идей. Иногда ему казалось, что он раздваивается...

— Верно, плохо было с продуктами, Семен Семенович,— согласился Игорь.— Из Москвы мясо и колбасу рюкзаками возил, когда в командировки ездил. По колхозам да стройкам гоняли. Но и сейчас не лучше. Все дорого, не купишь, только посмотреть можно. Мне вчера телеграмма пришла из Москвы: однокурсники собираются отпраздновать пятнадцатилетие выпуска. А у меня нет денег даже на билет... Производство разорили, скоро и нас разгонят.

— Тебе-то, Игорек, чего бояться, ты еще молодой, все дороги открыты.

— А что ты ему, Семеныч, предложить можешь взамен — только спекулировать или, как радио советовало, петрушку в комнате выращивать? Во что великую страну превратили!..

— Если бы красные директора не устроили саботаж...

— Все разом что ли?..

Зазвонил телефон. Вестилов взял трубку. Сообщил, что его вызывает зачем-то к себе руководство и вышел. Он считался у них за старшего как бывший начальник бесследно исчезнувшей лаборатории.

— Вот такие и ратуют за Совдепию,— усмехнувшись сказал Семен Семенович и налил себе в кружку заварки и кипятку. Игорь тоже наполнил стакан чаем.— Вестилов всю жизнь сидел на шее государства, а где конкурентоспособная техника?.. Вот когда я был в Италии...

Дальше Дорогов уже почти не слушал, прихлебывая нетерпкое и несладкое обжигающее питье, и думал о срывающейся поездке в Москву...

Семеныч — фрукт еще тот. До самого развала в резерве на руководящую должность числился. Его в начале перестройки в загранкомандировку посылали какую-то аппаратуру закупать, он с тех пор всем с завистливым восхищением рассказывал, как капитализм «загнивает», и в любом разговоре вставлял: «Вот когда я был в Италии...» Далее следовал какой-нибудь и до него известный факт...

«Технику как на Западе захотел, а сам-то сколько палки в колеса ставил, пока я делал кандидатскую»,— мысленно усмехнулся Дорогов, впрочем, без обиды, кому она нужна теперь, его диссертация. Он несколько лет чувствовал себя рабом, но держался. Ему необходимо было выдержать, чтобы, получив ученую степень, добиться независимости. О, это была превосходно задуманная месть в духе графа Монте-Кристо! И еще заодно ему нужно было кое-что кое-кому доказать... Кто знал, что в разразившейся катастрофе последних лет эти замыслы покажутся ему смешными, а все бывшие передраги — милым, малозначительным и бесконечно далеким недоразумением. И правые, и виноватые были теперь только чудом уцелевшими жертвами страшного крушения, заслуживающими жалости и, возможно, любви... Теперь все чаще стало мучить сомнение, а жил ли он вообще или только делал вид.

Не успел Дорогов допить чай, как снова раздался телефонный звонок. Пришлось взять трубку и сказать «слушаю».

— Игорь Геннадиевич, тебя к городскому,— узнала его по голосу секретарь директора Нина Леонидовна.— Кононенко из Киева на проводе.

Игорь заторопился по длинному пустому коридору в приемную, где стоял единственный городской телефон, остальные были давно отключены за неуплату. С Сашей Кононенко связаны несколько лет совместной работы. Саша, будучи еще аспирантом одного из престижных киевских вузов, заскочил однажды в их лабораторию в самом конце рабочего дня. Бросились в глаза спортивная фигура в безукоризненном сером костюме и открытое, располагающее лицо. У него через два часа отходил поезд. Предложил собственный оригинальный метод решения проблемы, над которой бился Дорогов. Провели на скорую руку эксперимент и получили неожиданный, поразительный результат — улучшение еще одной, не менее важной характеристики, что, по всем правилам, тянуло на изобретение. Саша уехал с черновиками протоколов испытаний, а через пару недель вернулся со своим руководителем, членкором Украинской Академии наук заключать договор о сотрудничестве.

После, подготовив опытные образцы, Дорогов отправился их испытывать в Киев. Дело было в мае, в самую пору цветения сирени и каштанов. Его тепло приняли в этом городе с еще не улегшимися страхами от Чернобыльской аварии пятилетней давности.

— Не опасно у вас сейчас?— поинтересовался тогда Игорь.

— Говорят, смертельно,— пошутил Саша.— Видел на каштанах цветы с пожухлыми краями?— От радиации.

Вечером, после успешных испытаний они вдвоем потягивали янтарный крым-

ский портвейн, курили и разговаривали о делах и о жизни в Сашиной лаборатории, напичканной приборами, которую он устроил в принадлежащей институту обычной квартире старого двухэтажного дома с уютным двориком, заросшим одурманивающей сиренью, где все жильцы знали друг друга и приветствовали распевной украинской мовой, а Саша отвечал им тоже по-украински, и все это было таким милым и родным, похожим на воспоминания о детстве.

А утром, по пути из гостиницы на вокзал, Игорь увидел демонстрацию преподавателей и студентов университета, которые с торжественно-решительными лицами шли по улице под желто-голубыми флагами. Он с грустью ощутил незримую энергию отчуждения, исходившую от этого праздничного шествия.

Кандидатами наук Кононенко и Дорогов стали почти одновременно, как раз тогда, когда наука стала никому не нужной, и всех терзала только одна проблема — где взять денег. Научные связи, в первую очередь с «ближним зарубежьем», развалились сами собой. Даже телефонные переговоры стали теперь накладными. Последний раз Саша звонил полтора года назад, зимой...

...В приемной немолодая секретарша показала на лежавшую на столе трубку.

— Алло, слушаю, Дорогов.

— Игорь Геннадиевич, ужасно рад тебя слышать, — в своей обычной приветливой манере начал Саша. Дорогову тоже был приятен этот голос, долетавший словно из другого времени и иной, благополучной, азартно-творческой жизни. Саша без прежнего задора рассказал о своих последних достижениях, опубликованных научных статьях, посетовал на цены.

— Представляешь, на сигареты не хватает, — с горечью заключил он. Затем, как и в прошлый раз поинтересовался. — Как у вас сейчас обстоят дела на предприятии — не появились деньги на продолжение нашей работы?

— Откуда, брат? Даже зарплату платить перестали, — как бы извиняясь, ответил Игорь.

— Поговори с руководством, попробуй убедить в необходимости дальнейших исследований.

— Боюсь, что это бесполезно. Видел бы ты в какой мы яме. Помнишь цех, в котором собирали прецизионные узлы? Давно законсервирован, на двери амбарный замок висит. Из пяти тысяч работников осталось пятьсот. А вместо промышленных роботов выпускаем бытовые весы и мыльницы.

— Что ж, это тоже нужно, — с сочувствием произнес Саша.

Пожелав друг другу удачи, тепло распрощались...

На обратном пути Игорь завернул на макетный участок. Там уже давно стояла без дела его последняя автоматическая установка. Завод, для которого она предназначалась, приказал долго жить, и теперь Дорогов ломал голову, что делать с этой напичканной электроникой, чересчур умной и оттого никому не нужной, по нынешним временам, машиной. Включил ее, полюбовался мигающими лампочками, пощелкал клавиатурой компьютера, вошел в режим «бесконтактного» управления. Наслаждался, словно музыкой, бесшумным, виртуозно точно отзывающимся на каждую команду движением исполнительного механизма. Затем, вздохнув, подумал «на сегодня довольно», машина плавно замерла, лампочки погасли...

Вслед за Дороговым в лабораторию вернулся от начальства Вестилов.

— Ну, что тебя вызывали, Палыч? — нетерпеливо поинтересовался Прищепкин.

— Мужики, дело дрянь, — Валерий Павлович выдержал небольшую паузу. — С завтрашнего дня нас опять отправляют в отпуск без содержания.

— Ничего не поделаешь, капиталистическая действительность, — насмешливо вздохнул Семен Семенович, который по выходным приторговывал маслами на авторынке и теперь, наверняка, рассчитывал расширить бизнес за счет будней.

— Надолго?— озабоченно спросил Дорогов, прикидывая, где на этот раз искать временную работу. Заказы на ремонт телевизоров перепали все реже. Ему уже приходилось устраиваться грузчиком на оптовой базе, сборщиком мебели, сельхоз-рабочим в пригороде. Однако, даже к временному прибежищу в коммерции душа не лежала.

— Пока до октября,— ответил Валерий Павлович.— Можно уже расходиться по домам.

— Ладно, счастливо отдыхать,— сказал Прищепкин на прощание и тут же исчез.

— Вот наказание, хоть бы зарплату дали! Мне же в Москву надо,— проворчал Игорь, отключая приборы.

— Когда у вас назначена встреча?

— В эту субботу.

— А не хочешь поехать в Москву с нами? «Трудовая Россия» организует акцию. Вот, почитай на досуге,— Валерий Павлович протянул листовку с крупным броским заголовком «В поход за СССР!». От этих четырех магических заглавных букв, обозначающих утраченную страну и все, что с ней было связано, у Игоря дрогнуло сердце. С долей снисходительного недоверия он бегло просмотрел мелко набранный текст и, свернув листовку, положил в карман.

— Вы думаете, Валерий Павлович, еще можно что-то изменить?

— А иначе стал бы я в этом участвовать!? Мы выезжаем в четверг в пять сразу после митинга у памятника Ленину. Решай...

Дорогов подождал, пока Вестилов закроет и опечатает дверь, затем вместе вышли на улицу. У перехода расстались. От прощального рукопожатия коллеги у Игоря хрустнули пальцы.

Солнце стояло высоко, но было не жарко. Дорога буквально запружена иномарками, лишь изредка стыдливо мелькнут и скроются в сплошном потоке «жигули» и «москвичи». От этого сверкающего, дразнящего потока у Игоря закружилась голова и снова стало душить навязчивое и — понимал ведь, что обманчивое — ощущение, будто все живут припеваючи, и только он один — не приспособившийся неудачник... Надо было во что бы то ни стало раздобыть денег.

Выпускники его группы собирались в столице раз в пять лет. Ни на одной встрече до этого Дорогов ни разу не был, хотя не существовало каких-либо внешних препятствий. Теперь же, в самый неподходящий момент...

\* \* \*

Оставившим светящийся след метеором промелькнули годы, проведенные в тихом студенческом городке всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Оглянуться не успел — уже диплом, да не простой, а красный лежит в кармане его рыжеватого пиджака с изрядно потертой подкладкой.

Гэдээровский пиджак этот цел, снова стал впору, благодаря периодическому недоеданию (нет худа без добра), и Дорогов последний год снова стал надевать его на работу, испытывая всякий раз странный трепет, будто соприкасался с частичкой забытого времени, когда сходил с ума по «Битлз» и «Поющим сердцам», обожал зиму и лето, жалел хромых собак и бездомных кошек, любил материалистическую историю КПСС и мистические формулы ядерной физики... А чего стоил бассейн «Москва» в самом центре у метро «Кропоткинская»! Особенно зимой, когда плывешь на спине в клубах пара, и падающий снег щекочет лицо...

В этом самом пиджаке он был в первый раз по-настоящему влюблен. Ее звали Оксана. Самая красивая девушка в мире, ленинская стипендиантка. Когда она, юная, хрупкая, стройная решала с мелом у доски какую-нибудь длинную задачку на симплексный метод (молодой и щеголеватый преподаватель экономики был к ней явно

не равнодушен и вызывал чаще других), то изящно держала левую руку, согнутую в локте за спиной, едва касаясь поясицы, улыбалась и играла сияющими бирюзовыми глазками размером с блюдце.

Она!.. словно вихрем размело привычную череду лекций, семинаров и попоек с приятелями по поводу получения стипендии. Все залито нежностью и безнадежной сладостной грустью. Шансов у него никаких, но от этого она еще притягательнее... В колхозе на третьем курсе Игорь, предусмотрительно сняв очки, едва не подрался за право проводить ее после танцев с Сергеем Мирохиным, который через год женился на другой. Она выбрала Дорогова...

Сразу после того колхоза, побывав с делегацией комсомольского актива в Португалии, Оксана рассказывала в группе, какая в Лиссабоне архитектура, обычаи и люди.

— Ну, а в магазинах там что можно купить?— перебил ее Венька Котов, известный фарцовщик, за которым из семестра в семестр тянулись «хвосты».

— В магазинах есть все, и никаких очередей,— признала Оксана.— Но и в СССР со временем эта проблема будет решена.

— Ну, ну,— недоверчиво усмехнулся Котов.

— А ведь он прав,— тоном знатока доверительно сообщил Игорю стоявший рядом с ним Никита Сушкин, большой любитель пофилософствовать.— Лет примерно через десять и у нас капитализм наступит.

— По «Голосу Америки» передавали?— скептически усмехнулся Игорь и тут же забыл о бредовом предсказании, а потом, много лет спустя, вдруг с горьким изумлением вспомнил, когда оно уже сбылось...

...Игорь постигал Оксану как некое захватывающее и еще не изученное, впервые им открытое явление. Он весь пропитался ее интонациями, выражением лица, манерами, любимыми фразами.

В конце четвертого курса, за день до разлуки они прогуливались вдвоем по Александровскому саду. Она была в светлом платье, а на нем рыжий пиджак и польские голубые джинсы.

— Игорь, чем ты собираешься заниматься после института?— спросила Оксана.

— Известное дело: распределюсь на завод или в НИИ.

— В Москве?

— Без прописки в Москве?!

— А если тебе попробовать пробиться в аспирантуру?

— Без блата пустая трата времени. Вон сколько москвичей желающих,— возразил Дорогов.

Некоторое время шли молча, пока не поравнялись с автоматами газированной воды, возле которых вились осы и толпились люди.

— Игорек, у тебя нет трюшки?—спросила Оксана.— Пить хочется.

В кармане пиджака отыскалась трехкопеечная монета. Автомат выплюнул в вымытый граненый стакан газировку с грушевым сиропом. Вода оказалась такой холодной, что ломило зубы. Пили по несколько глотков, передавая стакан друг другу. Затем двинулись дальше.

— Тебе не хватает амбиций,— решила снова вернуться к прерванному разговору Оксана.

— У меня их слишком много,— ответил Игорь.— Иначе я бы унижался и выпрашивал себе что-либо.

Хотел добавить: «И влюбился бы в кого-нибудь попроще». Но передумал. Теперь он уже больше ни в кого не смог бы влюбиться.

— Пойми, интересная работа в провинции — это просто иллюзия. И блат там ценится не меньше. Тебя затрут, съедят, как моего несчастного папочку. А квартиру там можно получить только к пенсии.

— Ну, это мы еще посмотрим...

На следующий день Игорь отправился в двухмесячные военные лагеря, а Оксана уехала со стройотрядом в Чехословакию.

...Увидеться с ней ему удалось только первого сентября. Она сдержанно улыбнулась на его приветствие и сообщила, что скоро выходит замуж. Он растерянно произнес «поздравляю». Ее избранником оказался тот молодой и щеголеватый преподаватель экономики. Он был командиром стройотряда в Чехословакии.

На свадьбу в кафе пригласили всю группу, но Игорь не пошел и вообще стал держаться от Оксаны подальше, насколько это было возможно в одной группе. Кажется, ее это задевало...

Заведующий кафедрой автоматических систем профессор Карпушин предложил Дорогову продолжить учебу в аспирантуре после получения диплома, но теперь об этом не могло быть и речи. Все, что он успел полюбить в первопрестольной, вызывало необъяснимое беспокойство. При распределении не позарился даже на Подмоскowie с его перспективными научными школами, выбрал точку подальше.

— Ну, что ж, — сказал профессор хриплым прокуренным голосом, когда Дорогов пришел попрощаться. — Голова у тебя светлая. Если захочешь заняться наукой, дай знать, постараюсь помочь. Но будет значительно труднее.

Игорь рассеянно кивнул:

— Спасибо.

Убеленный сединами профессор, прошедший сапером всю Отечественную, наверняка, недоумевал: «Что еще нужно этой современной молодежи?»

Позже, через знакомых Дорогов узнал, что Оксана закончила еще Академию управления народным хозяйством, потом аспирантуру, стала кандидатом экономических наук. Технические дисциплины она всегда недолюбливала.

...Эх, если бы были деньги, он уже в эту субботу смог бы увидеть свидетелей и соучастников солнечного утра жизни. Больше всего хотел поговорить с Оксаной. Ему так и не удалось избавиться от сладкого сердцебиения при одной только мысли о ней.

\* \* \*

— Вот наш новый сотрудник, зовут его Игорь Геннадиевич Дорогов, только что закончил институт. Прошу любить и жаловать, — представил его начальник отдела Пыреев. Все десятка три человек оторвались от своих занятий и уставились на Игоря. Он почувствовал, что бледнеет от волнения. Его подвели к свободному столу. «Тебя затрут, съедят, как моего несчастного папочку», — вспомнил он пророчество Оксаны, скользя взглядом по незнакомым лицам. А если и съедят — какое это теперь, без нее имело значение?..

К нему подходили знакомиться, расспрашивали. Больше всех его «окружал вниманием» слесарь-сборщик Акимов, разговаривая с ним так, будто они сто лет знали друг друга. В половине одиннадцатого он уговорил Игоря выпить стакан крепчайшего, заваренного в стеклянной колбе чая. К концу дня Дорогов, казалось, знал об Акимове все, но в последующие годы чуть ли не ежедневно открывались все новые необыкновенные подробности его биографии. Приключения Юрия Максимовича начались еще в младенческом возрасте, когда он сбежал из эвакуированного в Ташкент во время войны детского дома и в товарняках пытался добраться до родного города, пока его не поймали на одной из станций в Средней Азии. Следующий побег оказался удачным. В недавно освобожденном от немцев полуразрушенном городе он разыскал свой уцелевший дом и мать, вернувшуюся из эвакуации. Отец, которого он ни разу не видел, воевал на фронте, отсидев шестилетний срок «за халатность» — в одной из сапожных мастерских руководимого им треста ревизия обнаружила недостатку, ну а законы тогда были суровые. Юрий Максимович с гордостью рассказывал,

как его отец во время выхода из окружения застрелил полковника, отдавшего приказ сдаться немцам, и никогда не держал зла за свой арест на Советскую власть и Сталина. Да и сам «слесарь-интеллигент», как его в шутку называли в отделе, был склонен идеализировать то дохрущевское время. Все, что творилось в стране, начиная с «Хруща», характеризовалось им одним словом: бардак. А повидал Акимов немало. В молодости работал грузчиком в Якутске и Певеке, мыл золото на Колыме, судьба забрасывала его в Оймякон — полюс холода, в Магадан и на Камчатку, ему довелось купаться в ледяном Анадырском заливе и даже стать чемпионом Чукотки по боксу. В начале шестидесятых, когда «Хрущ» «порезал» северные надбавки, и народ хлынул на «материк», Максимыч тоже вернулся с женой и сыном, стал обивать пороги партийных и советских руководителей, чтобы ему, добровольцу, уехавшему на Север по комсомольскому набору, выделили жилье или хотя бы участок под застройку, но никто и пальцем не пошевелил, пока не догадался съездить в приемную Президиума Верховного Совета. Тогда участок в пригороде все-таки дали, но Акимов сделал вывод, что власть в стране незаметно прибрали к рукам враги народа, повылазившие из щелей после смерти Сталина. Разочарование было столь велико, что молодой рабочий сжег свой комсомольский билет. Дорогов слушал эти байки со снисходительным интересом, как частный случай, не соответствующий теории, которой его учили в институте.

Над монтажным столом Максимыча висел приклеенный к стене цветной портрет Юрия Владимировича Андропова.

— Вот его, Игорек, я уважаю,— сказал Акимов, кивая на портрет.— Ты только глянь, как новый генсек взялся наводить порядок! На работу опаздывать не моги, прогульщики да бездельников милиция прямо на улицах отлавливает. А недавно нашего начальника Вячеслава Васильевича в мебельном магазине днем застукали вместе с одним райкомовским работником — так их по радио на всю область ославили, не посмотрели на чины.

— Максимыч, хватит трепаться,— сказал проходивший мимо начлаб Вестилов, которому было в ту пору тридцать пять.— Ты плату управления распаял?

— Еще вчера.

— А сейчас чем занимаешься?

— Кожух для блока питания делаю.

— Когда закончишь, посмотри, почему шпindelный узел заклинило.

— Перебьешься, начальник, не блатной.

— Чего? Смотри, договоришься, лишу тебя премии.

— А ты, Палыч, разве не слышал лагерную поговорку: «Лучше кашки не доложь, да на работу не тревожь»?

Игорь диву давался, как ловко орудовал Максимыч и отверткой и метчиком и паяльником. Не сразу заметишь, что у него на правой руке не хватает большого пальца — «отсандалил» циркуляркой лет десять назад, когда зимой пилил впотьмах мерзлые дрова соседке. Как жалко ему стало тогда отскочившего в снег пальца!

— Пойдем, Игорек, покурим,— предложил слесарь.

— Пошли, только я не курю.

В полутемной комнате вдоль стен стояли деревянные «клубные» кресла с откидывающимися сиденьями, светились огоньками с десятков сигарет. Лампочка была еле заметна в дыму. Только Акимов раскурил свою «приму», в дверях появился лысый мужчина с бросающейся в глаза выправкой отставника и тоже закурил.

— Это наш парторг Кузовкин,— сказал Игорю Максимыч.— Давай подойдем.

Он представил Игоря, но о нем тут же забыли.

— Растволкуй, пожалуйста, Алексей Иванович, из-за чего поляки бастуют?

— Работать не хотят, вот и бастуют. Ну, и перегибы были допущены прежним руководством.

— А почему, как только у них заварушка началась, в нашем городе бутербродное масло исчезло?

— Сам подумай. Масло польским рабочим отправили. Что для нас выгоднее — полгода без масла посидеть или допустить, чтобы войска НАТО подошли вплотную к нашей границе? — бойко ответил Кузовкин, сам, должно быть, удивляясь, как удачно воспользовался приемами только входившей в моду контрпропаганды.

Но, по мере того, как Максимыч с невинным видом продолжал задавать вопросы, почему инженеров посылают в колхоз, в то время как в технике заглядываем Западу в зад, а колбасы и масла, один хрен, не хватает, с какой стати Москву кормят намного лучше, чем другие города, до каких пор в отделах будут числиться «подснежники», а начальство — втихомолку растаскивать стройматериалы со строительства цеха прецизионной сборки на свои дачи, не пора ли омолодить политбюро, — Алексей Иванович отвечал все сбивчивее и мрачнел на глазах, пока, наконец, не выскочил вон из курилки, бросив в сердцах окурки мимо урны и грозясь сдать «махрового антисоветчика» в КГБ.

Акимов ему вслед только посмеялся и довольно потер руки.

— Эх, Максимыч, довел человека до белого каления, — сказал один из курильщиков. — Смотри, упекут тебя, куда Макар телят не гонял.

— Мне бояться нечего, я в тех местах уже бывал, — ответил слесарь и весело сверкнул глазами на Игоря. Тот заметил в шутку:

— Хорошо, что сейчас Иосифа Виссарионыча нет.

— Э-э, дорогой мой человек, — укоризненно произнес Акимов, когда они вдвоем вышли из курилки, — Зачем напраслину на Сталина возводишь? При нем главенствовал закон, а не должность или положение. Если сажали, то за дело. Провинился — поди сюда, туалетный рабочий! Причем, с членов партии спрос был строже, чем с беспартийных. Конечно, кому-то это не нравилось. Я жил в то время, знаю. У меня самого старик был «репрессирован», как сейчас говорят.

— Что же в этом хорошего?

— А то хорошо, что закон для всех существовал. А теперь, коли номенклатурщик проворовался, его из одного кресла в другое пересаживают...

«Какие все это пустяки...», — с тоской подумал Дорогов и снова который уже раз на дню вспомнил, что за замечательную девушку он любил под метеоритным дождем уравнений и теорем. Без сомнения, она владеет секретом счастья, которое не зависит от того, кто рядом. Почему же ему так тоскливо?..

— Хочешь, Игорек, я тебе весь наш отдел покажу? — предложил Акимов. — У нас еще есть две лаборатории — испытательная и технологическая.

— Можно, — без особой охоты согласился Дорогов.

Эти лаборатории располагались в соседних комнатах дальше по коридору. Перед глазами мелькали незнакомые технические устройства, приборы, кульманы с приколотыми кнопками чертежами, и чужие лица, к которым, казалось, никогда не привыкнешь. Сознание бесстрастно фиксировало, что мужчин и женщин в отделе приблизительно поровну. Все женщины старше, за исключением молоденькой симпатичной секретарши Пыреева Вали, но Валя уже успела выскочить замуж и обзавестись ребенком (подробности сообщал догадливый Максимыч). Из незамужних (да и замужних) никто не приглянулся. Оно и немудрено после той, которая у него была...

В конце рабочего дня Вестилов объявил:

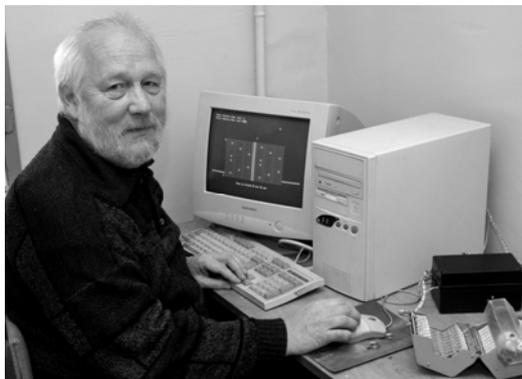
— Товарищ, минутку внимания. Пришел приказ — завтра всей лабораторией на прополку. Кроме освобожденных по состоянию здоровья, разумеется.

— И кроме меня, — добавил из своего угла Акимов. — Я устраивался слесарем, а не колхозником.

— Ну, ты у нас особенный, — проворчал начлаб. — Все уже к этому привыкли...

**Алексей Яшин**  
(г. Тула)

**ЛЮБОВЬ  
НОВОЮРСКОГО ПЕРИОДА**  
(Главы из романа \*)



### **МУЗА МЕЛЬПОМЕНА, ДОЧЬ ЗЕВСА И МНЕМОСИНЫ**

Лера проснулась ближе к одиннадцати часам — и в прекрасном, неосознанно счастливом расположении души и тела. Но все же вспомнила о ночном чудачестве: долго не ложилась спать, размышляла о внезапном звонке... Добро усмехнулась своим фантазиям: все это от душного августовского вечера, раскаленного асфальта в самом центре города — не историческом, а деловом, как сейчас принято говорить — а главное, от внезапно навалившейся свободы отпуска от всего и всех. Свои укатили в Евпаторию, включая полковника, которому смело можно доверить всех домашних, исключая ее самую, ибо в свои шестьдесят пять Семен Ефимович еще смог бы позировать местному скульптору Рудольфу Черноротову, закажи тому городская администрация, не желающая отставать от столичных затейников навроде Зураба Константиновича, сорокаметровый монумент «Губернатор Стерлядкин открывает эру демократии в городе N.»— Она не помнила, от какого остряка слышала про скульптора, да и самого Стерлядкина уже дружно провалили на выборах, да еще статью вклепили по взяточничеству. Был человек, причем толстый и солидный, и нет человека...

А главное — отпуск в театре. Правильно покойная бабушка, разменявшая десятый десяток в самом начале бардака в стране, с серьезным юмором говорила, что единственное достижение наступившей эры демократии — на фоне всеобщего разрушения — это появление в свободной продаже туалетной бумаги... хотя бы и бразильского производства. Так и у них, служителей Мельпомены: система летних гастролей напрочь разрушена, хорошо директор театра в этом сезоне исхитрился сделать небольшой вояж в Курск и с половиной труппы по обмену в Калугу. А больше не востребованы, зато актерам отпуск в самый что ни на есть бархатный сезон!

В полном блаженстве и вставать не хотелось: валяться, валяться и нежиться. И кто это придумал, что без мужика и постель не греет? Наверное, они сами и сочинили для охмурения несовершеннолетних по уму или перезрелых по телу бабенок. Нет, конечно, и мужик определенную приятность в жизнь привносит, но главное, чтобы каждодневность, рутина не наступала. И чтобы мужчина был чист, выбрит, не садист и не извращенец... Еще что пожелаете, мадам? Ах, да, чтобы спрыснут был обязательно одеколоном «Консул», желательна египетского рóзлива. Рассмеялась, вспомнив прическу Верки-травести: чтобы сорок раз по разу от души, как в первый раз. «Только не для него, конечно, в первый»,— добавляла она с нарочитой порочностью гримаски на очаровательно-круглой мордашке. «Ох, Ве-ерка, доиграешься ты

---

\* Яшин А. А. Любовь новоюрского периода: Философский роман / Предисловие Л. В. Ханбекова: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас».— М.: «Московский Парнас», 2009.— 712 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

со своими сценическими переодеваниями,— укоряли ее актрисы постарше,— в голове что-нибудь сдвинется, и будешь ты не заслуженная травеститка, а заурядная новомодная трансвеститка!»

Непривычная свобода поздним утром, Машка вторая не лезет тебе под бок, а сейчас, наверное, уже по пляжу носится, прячась от своей бабушки и хлопотливого полковника... Ну, вот, сглазила, истинно сказано: никакое имя всеу не упоминай! Только о дочери подумала, как на пороге комнаты явилась чудо расписное и лохматое: Машка первая; здесь все справедливо, по годам: дочери почти пять, а кошка уже отметила свое семилетие. «Не было у бабы хлопот, завела порося»,— в голос весело произнесла Лера, а Машка согласно дважды мотнула хвостом влево-вправо.

Откинула махровую простыню, которой укрывалась в жаркое время, спустила ноги на пол, сладострастно потянулась, подумав: еще одно достоинство временного одиночества в квартире — спать голышом, когда и ночью на улице столбик за двадцать с лишком. И даже легкий халатик не набрасывать по пути в ванну. Машка шла следом, но по инерции дверь туда Лера за собой закрыла на щеколду. Внимательно осмотрелась в узком, длинном зеркале «в рост», отмахнула рукой короткую челку мелированных волос, повернула голову, как Машка хвост, вправо-влево, поднимая подбородок, чуть тронула указательными пальцами, поглаживая веки глаз. Затем опустила ладони на уровень ключиц и медленно заводя их вправо и влево, провела по округлостям грудей еще («Еще!» — вздохнула она) крепких, оформленных, задержалась на твердых сосках и снизу, уложив груди в ладошки, чуть приподняла их. «А знаешь, ничего! — комментировала она свои действия,— если завтра война, в смысле если откуда-нибудь из Парижа или Голливуда докатится мода не носить бюстгалтер, то вполне смогу конкурировать с малолеткой... если они, конечно, с восьмого класса школы не трахаются и уже не отравили себе пушечных ядер». И в контексте рассмеялась: присутствие, хотя и эпизодическое, в доме полковника начинает сказываться на образности мышления и языка в части военно-пехотной конкретики.

Мягко ущипнула себя за бока, округло провела ладонью по маленькому, не от родов, но природой данному животу с аккуратной пуповичной ямкой: нет, такая и все что при ней такое же, как и пять, десять лет назад. Для осмотра нижней части икр и лодыжек длины зеркала на хватало, но все остальное за прошедшие сутки изменений не претерпело: бедра атласны и округлы, коленки «не колотятся», интимные места белеют положенным им треугольником спереди и сзади. Никакой кривоногости и косо-копытности, только естественная, в рамках всех физиолого-анатомических норм подпружиненность! С огорчением подумала, что уже вплотную надвинувшаяся идиотская мода брить ноги все же не мытьем, так катаньем заставит лишиться этих золотистых волосиков на внутренней поверхности бедер и икр. «Нет,— громогласно верещит Веерка-травести, после второго фужера «мартини» на дармовщину,— пусть я последняя останусь в театре и в городе вообще небритая, зато все мужики будут моими! Ведь они, усладители нашей нелегкой жизни, втайне ненавидят эту бритоногость. Мне мой предыдущий папик так и сказал, что это отбивает возбуждение на семьдесят пять процентов — он из коммерсантов, привык все на проценты переводить — и это прямое покушение производителей техники и химии для женского бриться на естественную красоту женскую. И еще говорит, что когда он, кобель этакий, гладит бедра обритой женщины, то возникает ощущение дотрагивания до лягушачьей шкуры. А? Здорово сказал, даром что офисный спекулянт. Так что, девки, будем, как говорится, голосистыми и волосистыми!»

Посмеялась тихонько, вспомнив реплику Верки, еще раз осмотрела себя вкупе со всеми прелестями в зеркале, поворачиваясь то правым, то левым боком, то спиной и заглядывая через плечо, и уже становясь под душ и всерьез, но и шуточно в то же время подумала: до чего же я прелестна в свои тридцать пять лет? И разве не обидно

такую красоту даже на время отдавать в клешкастые объятия грубо сопящему от вожделения, с округлившимися от животной страсти глазами мужику? «Да-да,— уже вслух произнесла Лера,— вот с такой горделивой обидчивостью и ждут потом среди ночи звонка неведомо от кого!» — И тут же жестко поправила себя: «Сама знаешь что ведомо: от отца твоей дочери, а ситуацию поведения сама содеяла. И непонятно для чего...»

Включила душ. Кошка Машка тоже в унисон затеяла умывание перед дверью ванной.

\* \* \*

*...Хотя  
буржуй  
и лицо перекрасил  
и пузо не выглядит грузно —  
он волк,  
он враг  
рабочего класса,  
он должен быть  
понят  
и узнан.*

Лера причесывала свои жестковатые, коротко стриженные (актерка, парики!) волосы перед старинным трюмо в просторной прихожей «сталинского» дома, в бессчетный раз с улыбкой читая эти строки, выполненные почти каллиграфическим почерком черными чернилами, слегка уже выцветшими, на тетрадного формата прямоугольнике ватмана, припиленном по уголкам кнопками к стене — на уровне глаз и чуть вправо от зеркала. «Бабулечка моя, революционерка почти со столетним стажем, самолично написала и прикрепила, когда в городе первые кооперативы завелись», — поясняла Лера впервые приходящим в их квартиру. Правда, таких и раньше за год не более двух-трех набиралось, а теперь и этот ручеек иссякает...

И словно издеваясь, прямо над головой, в высоком углу прихожей раздался сначала короткий, потом чуть подлиннее звонок. Лера никого не ждала, потому не торопясь еще пару раз взмахнула расческой, повернулась к двери, подошла и посмотрела в глазок: через увеличительное стекло оптически распузырились фигуры двух молодых парней, скорее всего старшего школьного возраста. В руках они держали парусиновые сумки, чем-то угловато набитые, впрочем, не очень-то тяжело наполненные. Усмехнувшись, она язвительно хмыкнула и нажала кнопку на правом косяке дверной коробки и, забыв тотчас о визитерах, пошла из прихожей вслед за голодно мяукающей Машкой: пора кормить животину! Но все равно услышала из-за двери механический голос полковника с раскатами и нарочитым хохлацким говором: «Усе, хлопцы, вы сфотографированы и активированы. Карточки на память получите в Центральном РОВД и майора Храповика!» Еще она представила на миг растерянные физиономии парней, услышавших командирский голос из закамуфлированного динамика и ослепленных яркой фотовспышкой.

Семен Ефимович хотя и являлся настоящим полковником в отставке, но обладал выраженным чувством юмора. Ребята из его охранного агентства «Спартак» за час с небольшим установили всю эту механику после того, как в опрометчиво открытую Инной Васильевной на звонок — тяжелое наследие советской доверчивости — дверь быстро вошли двое молодых людей в каких-то стилизованных спецовках, представившихся «горгазом». После их ухода на кухне не досчитались десятка серебряных

ложек из бабушкиного наследства и опрометчиво оставленного Инной Васильевной на холодильнике кошелька. Правда, в нем находился только месячный проездной, срок действия которого накануне истек, и какая-то сушая мелочь.

В дополнение к технике полковник провел часовую беседу с обеими дамами, причем Инна Васильевна доклад законспектировала. В частности, Семен Ефимович рекомендовал особо остерегаться молодых ребят, якобы торговцев книгами в разнос: «Вы, девушки-женщины, шибко грамотные. Я тоже в свое время, когда комроты был, за ночные дежурства всю полковую библиотечку перечитал. Так вот, у Диккенса есть роман, где очень даже подробно и со знанием дела описана воровская школа, что-то навряде специализированного *ПТУ*. Сейчас время наступило архивороватое, причем представители этой древней профессии хорошо организованы. И у них есть свои профтехшколы по различным специализациям: домушники, форточники, щипачи, ну-у, не буду вас утомлять специальной терминологией. Но все воровские ученики кроме теоретических занятий на своих базах-малинах набираются большого практического опыта. Вот, например, у домушников, которые спецы по обчистке квартир и всяких там офисов, первая серьезная практика — разведка. Вот такие шустрые ребята берут в руки по сумке с книгами и обязательно по-двое начинают обход указанного учителем района; кроме потенциально богатых квартир они не ленятся входить в любую встречную дверь, где нет охранников: от депутатских общественных приемных до сапожных мастерских. Наверное, вы в своих трудовых местах таких уже заметили...

— Я лично ни разу, — хмыкнула Лера, — во-первых, театр в такой нищете, что вор скорее подаст на бедность, чем польстится на пыльный реквизит двадцатилетней давности. Опять же днем и ночью, исключая время спектакля, двери в храм Мельпомены на запоре.

— А вот к нам в «кулек», извиняюсь, в колледж культуры, такие иногда забегают. Вот ты, Семен Ефимович, разъяснил нам, и я сразу вспомнила: какие-то они щупловатые, одинаковые, быстро и без стука вбегают в любую открытую дверь, а глазами так быстро-быстро, как фотоаппаратом, все схватывают.

— Во-во, как фотоаппаратами... И в считанные секунды все осмотрят, оценят обстановку, главное — запомнят до мелочей. А по-двое так это для взаимной перестраховки и быстроты обзора: один правую сторону комнаты фиксирует, а второй, что слева, левую, соответственно. Еще одна характерная примета — книг в сумках немного, чтобы не стесняли оперативность их элоквенций, говоря языком военным. Естественный вопрос: почему столь интеллектуальный товар у них для прикрытия? А просто сейчас людям не до книг, а кандидаты в домушники не будут терять драгоценного времени. Иногда они носят в сумках совсем что-то нелепое, представляясь торговыми агентами американо-канадской компании, типа плюшевых медвежат в летнюю жару или китайских термосов в двадцатиградусный мороз.

...Спугнув книгонош, Лера захозяйничала на просторной кухне — не хуже чем в тех двадцати-с-чем-то этажных «билдингах», что начали возводить в центре московские компании, со временем планируя захватить площадь всего города. Дома эти полковник, впрочем с полным на то основанием, называл бандитскими. И видно его здорово вымуштровали в академии по политэкономии, потому что, начав как-то разговор с этих домов, он тотчас перешел на иллюстрацию третьей главы первого (или второго? — Лера не забивала голову ерундой) тома «Капитала» о вывозе этого самого ростовщического капитала из метрополии в колонии. Или что-то в этом роде; им в *МГИК'е* политэкономия преподносили упрощенно: для культработников и домохозяек.

Дав Машке вчерашнюю вареную рыбу, ошпаренную для сугрева кипятком из чайника, себе же сварила пару яиц всмятку и овсянку. Насчет холестерина она не беспокоилась и вообще считала это выдумкой производителей фармпрепаратов, а вот

с овсянкой дело сложнее и интимнее. Несмотря на оптимизм утреннего себя осмотра перед большим зеркалом, Лера не обманывалась: в тридцать пять лет все же жирок понемногу и талию округлял, и ягодички чуть-чуть, но уже отяжелял... И еще она хорошо, даже без квалифицированных подсказок Верки-травести, понимала: все прибывающие года еще не того калибра, чтобы играть здесь первую скрипку, а причина в другом: жизнь без мужчины... или, правильнее говоря, почти без мужчины. Таким вот жирком при сохранении общей стройности и покрываются даже очень следящие за собой старые и не очень старые девы, равно как и вовсе не девы, но безмужницы и не имеющие дежурных или постоянных любовников. «Вот так-то, девушка»,— невесело рассмеялась Лера. Доела овсянку, яйца без соли и без хлеба, а остатки каши из кастрюльки положила в блюдце кошки, покрыв туда рыбки из холодильника,— «Это тебе на обед, курносая. У меня вот нос классический, прямой, ну и что? Все одно нет у нас с тобой женихов!»

\* \* \*

Лера любила свой дом, одной стороной выходящий на главный проспект города, а другой тоже на главную «интеллигентную» улицу. Не только за просторную квартиру любила и что родилась и прожила здесь три с половиной десятка лет. В доме этом была очень заметная «фишка», как сейчас говорят тинейджеры и идущая на поводу у них пресса и телевидение... или, наоборот, научающая несмышленицей. Ее, Леры, возраст, даже исключая непомнящее младенчество, все равно больше половины истории дома с башенкой, как его знал и звал весь город, отличая от немногих, считаемых по пальцам едва ли не одной руки «сталинских» домов.— Не потому, что город был неважнецкий, куда неохотно смотрели очи Главстроя; наоборот, всегда имел он до наступления новейших времен свою характерную роль исторического и достаточно специфического промышленного центра. Возможно в силу-то специфики исторически преобладавшего у рабочих надомнического труда город до начала тридцатых годов являл собою огромную деревню с десятками тысяч деревянных и кирпичных частных домов с парой-тройкой улиц, застроенных двух и трех-этажными купеческими «совмещенками»: на первом этаже давка, а выше — собственное жилье или под жильцов внаем.

Перед войной, как рассказывала еще школьнице Лере бабушка историю города не по-писаному, но самолично виденному, довольно активно взялись строить четырехэтажки в тогдашнем стиле татлинского конструктивизма. Правда, все знающая бабуся попутно поясняла, что этот самый конструктивизм, то есть голые, без балконов и всяких прибалбасов стены под шиферной крышей, архитектор Татлин очень даже просто позаимствовал у Ле-Корбюзье, приехавшего в СССР реализовывать свои модернистские проекты.

...Впрочем, не очень много успели построить. В конце сорок первого года город был фронтовым и на направлении одного из главных ударов на Москву, но оборонился, а после советского контрнаступления устойчиво оказался в тылу, хотя и не очень глубоко, по крайней мере для немецкой фронтовой бомбардировочной авиации. Но его не бомбили; во-первых, все заводы, имеющие военное значение, а других там не было, успели эвакуировать, а тратить фугасные бомбы на избы — это не в характере рациональных немцев; во-вторых, авиация была востребована на других направлениях. Как бы там ни было, но разрушений почти не было, поэтому в послевоенный период город не был включен в число восстанавливаемых, а потому до начала шестидесятых годов, когда первым секретарем обкома стал сыгравший важную роль в новой истории города Иван Харлампиевич, полностью сохранялся довоенный, а правильнее — и вовсе дореволюционный пейзаж.

Их дом был одной из немногих новостроек послевоенных лет. Да еще в двух кварталах по будущей главной «интеллигентной» улице тоже одновременно строили основательный «сталинский» дом. Правда, без эоловой башенки.

Как опять же любила вспоминать бабушка, до самого окончания строительства этих домов было неясно их целевое заселение. Но в городе ходил слух: один из них ангажирует для своих сотрудников обком, второй же предназначается для высших начальников и специалистов военно-промышленных предприятий и организаций. Но кому какой? — На это народный телеграф ответить не мог.

В итоге дом с башенкой по каким-то глубокомысленным соображениям заселили начальниками и начальствующими специалистами, а другой — обкомовцам и железнодорожникам «фифти-фифти». Точно также и дом с башенкой заселили не только директора и начальники-конструкторы, и даже не начальники, но конструкторы с громкими именами, но и значительная прослойка совработников-исполкомовцев и заслуженных людей города. В число последних не без основания была зачислена и бабушка Виктория Ильинична, ровесница века революций и войн, к тому же умудрившаяся появиться на свет в ночь на европейский Новый год, то есть 19 декабря 1899 года по принятому в Российской империи юлианскому календарю. Истовая революционерка, бабушка всегда с гордостью говорила, что родилась именно в этот день, предчувствуя грядущую революцию, которая переведет «замшелое царское время» на календарь григорианский и сделает ее день рождения новогодним... Но предпочитала умалчивать, что имя ей дали в честь бессмертной английской королевы, к тому же заравившей через браки своих дочерей и родственниц по нисходящей линии гемофилией все монархические дворы Европы, царский в том числе. Впрочем, при всей ненависти к тирании Николая Кровавого она чисто по-женски жалела наследника престола, но опять же не по причине его убийства в Екатеринбург-Свердловске, а из-за «викторианской болезни». «Да, бабуля,— говорила ей уже повзрослевшая и помудревшая Лера, когда Виктория Ильинична начинала излагать ей, за неимением других желающих слушать, краткий курс *ВКПб*,— человек должен жить в одну эпоху и чем дольше, тем для него будет лучше. А вот если детство и юность пришлось на одну, а взрослые годы на почти противоположную, то такому страдальцу приходится постоянно себя контролировать и сопоставлять все явления жизни. А это очень хлопотно и утомляет!» «Умна ты, Лерка, не по годам и тем более не по принадлежности к бабьему полу,— добродушно смеялась та, демонстрируя *свои*, замечательно сохранившиеся зубы,— а я вот имею опасение, глядя на все эти похороны подряд трех генсеков, как бы снова на старости лет не поменять эпоху...» Как в воду почетная революционерка глядела, застав горбачевщину и *ГКЧП*. Может и правда провидицей была, если еще до рождения, по ее словам, загадала революцию? И еще думала порой Лера, что умерла бабуса пять лет назад, не дожив до запланированного ей века целых девять лет, во многом из-за нежелания присутствовать при очередной для нее «смене веков», как она любила выражаться в терминах интеллигентских штампов времен юности. Понятно — революционной.

\* \* \*

Иронизируя в детстве и в юности в глаза и за глаза над бабусей, впрочем, добро и любя, Лера про себя гордилась ею. Действительно, в семидесятые-восьмидесятые года Виктория Ильинична в глазах всего города была личностью легендарной. Впервые это с высокой областной трибуны озвучил Иван Харлампиевич, награждая Викторию Ильиничну в ее 75-летие орденом Октябрьской революции — первую и, как впоследствии оказалось, единственную в городе и области женщину, ставшую кавалером этой высокой награды. То же самое, но уже не задумываясь в поисках слова, бессменный глава области повторил и пять лет спустя. Орден Дружбы народов в этот

раз ей вручали не потому, что восемьдесят лет менее «круглая» дата, а просто все остальные гражданские знаки отличия у нее уже имелись, равно как персональная пенсия республиканского значения и редкостный знак «50 лет в КПСС». И еще она была лауреатом Сталинской премии II степени — в составе коллектива. Диплом кандидата исторических наук и аттестат доцента имела. И звание «холодной» профессорши. Много чего имела бабулечка милая, даже счастлива всю жизнь была, хотя и суровым счастьем ее судьба наградила.

Когда восьмиклассница Лера со вниманием прочитала официальную биографию бабули, изложенную в выпущенном местным издательством к какой-то юбилейной дате книге о выдающихся революционерах города, то была достаточно удивлена: по рассказам бабушки Вики, многие факты и события имели другой акцент, либо вовсе отличались в сторону противоположную. И бабушка, сама давшая Лере книжку, внимательно и с доброй улыбкой наблюдала за читающей внучкой. А под конец и вовсе хитро подмигнула: дескать, каково пишут? Чтобы девочка не задумывалась о различии напечатанного и ранее ею не раз и по различным поводам рассказанного, Виктория Ильинична с добросовестностью и обстоятельностью педагога прочитала внучке целую лекцию. Суть ее сводилась к различию между реальным и воображаемым с благими целями. В данном случае целью являлось воспитание подрастающего поколения на примере героических старших поколений. Поэтому местный писатель-очеркист Омшанников, специализировавшийся в местном издательстве по биографиям периферийных знаменитостей, и сгладил некоторые моменты ее биографии, а другие, напротив, выпятил и цветисто расписал. «Я сама Дементию Анатольевичу дала полное согласие на такие вольности,— поясняла бабушка Лере,— а он большой дока в литературизации вроде бы самых обычных вещей».

После этого разговора Лера все поняла правильно: что напечатано — это для воспитания юношества и ностальгических воспоминаний сверстников героев, уже и самих поверивших в свои беллетризованные биографии, а что было на самом деле в большой жизни бабушки — это для Леры. Понятно, что восьмиклассная внучка все это сформулировала в иной, упрощенной терминологии, но смысл ей самой был понятен и одобрен революционной бабушкой.

Конечно, в дореволюционном промышленном городе имелось достаточное число мастеровых-артельщиков, так сказать оптовых надомников от казенного завода, с доходами не меньше иных купцов второй гильдии, не говоря уже о мелких лавочниках. И дети их нередко получали среднее образование. С другой стороны, уже со слов их школьного учителя истории, по совместительству литератора-краеведа, Лера знала: дети зажиточных мастеровых предуготовлялись родителями для продолжения их ремесла и содержания семейных домов-усадеб, они же мастерские-миницеа. Потому мальчиков после начальной школы отправляли в реальное училище, а наиболее способных — в не очень дальний московский катковский лицей. Последние потом шли в политехнические столичные институты и возвращались в город инженерами на казенный и акционерный заводы металлообрабатывающего профиля. Дочерей же без затей направляли в губернское женское епархиальное училище: это давало приличествующее дамскому полу образование и воспитывало склонность к семейственности и управлению домашним хозяйством.

А вот бабушка к моменту отречения царя от престола окончила вторую женскую гимназию, где учились дочери городских чиновников-дворян высшей средней значимости, крупных промышленников и купцов. В отличие от мужских гимназий той поры, в женских детей разночинного и мещанского племени почти не наблюдалось. В советское время Виктория Ильинична как-то привычно осторожно объясняла внучке факт своего пребывания в гимназии и дочери своей, матери Леры, заказывала делать то же самое. Однако когда в самом конце восьмидесятых власть начала спешно ме-

няться на противоположную, бабушка все чаще начала вспоминать слова своего любимого поэта — для характеристики наступившей эпохи и ее творцов:

*Там,  
где речь  
о личной выгоде,  
у него  
глаза на выкате.  
Там,  
где можно пролезть  
для своих нажив,  
Там  
его  
глаза-ножи.*

— И поясняла своей внучке, вплотную приблизившейся к тридцатилетию: «Я эти стихи от самого Владимира Владимировича в Политехническом музее слышала! И еще Бурлюк с Асеевым одновременно выступали». Не вдаваясь в шепетильности прежних своих вариантов биографии «*аля Омшанников*», уже как само собой разумеющееся и всем известное рассказывала о своих родителях: отце, крупном чиновнике, во времена премьерства графа Витте (Витте-Полусахалинского, не приминала язвительно замечать она), даже возглавлявшем губернскую палату, действительного статского советника, то есть «превосходительства», к тому же даже не служилого или просто потомственного, но столбового дворянина, правда, из захиревшего еще до Наполеонового нашествия рода. Может по этой причине он сразу по выходе из Казанского университета по юридическому факультету, получив казенное назначение в наш город, как умозрительно полагала Виктория Ильинична, и женился на дочери довольно богатого купца, владельца оптовой мучной торговлей города и пары крупных магазинов — от колониальных товаров до некоторого подобия современных универмагов. Правда, купеческая дочь была красавицей и с отличием окончила ту же гимназию, где потом училась и бабушка Леры, что в глазах городского бомонда и служило-торгового мещанства значительно ослабляло бабушкину версию «женитьбы на приданном». Любившая точность, бабушка поясняла: она училась в той же гимназии, что и мать ее, но при маме та была единственной в городе, а номер «два» — это уже при ней...

Бабушка появилась на свет третьим и последним ребенком в семье, когда ее матери исполнился тридцать один год...

— А как же родовая традиция выходить замуж в тридцать лет, выходит, она лишь с тебя началась? — перебивала ее Лера.

— Формально — да, но мои папа и мама поженились в двадцать три года, с разницей в несколько месяцев. Для мужчин это было и тогда обычный возраст, но вот для женщины столько лет к замужеству? — Это «ранний» перестарок, что вполне соответствует нынешним тридцати.

— И почему? Ведь такая красавица, даже по этой пожелтевшей фотографии видно... Или уже эмансипэ в моде было уже? Феминистки всякие...

— Это все в столицах и университетских центрах. Здесь же проще было: то ли мама моя разборчива была, а может случился в городе перебой с женихами. Я ее не спрашивала, а она сама на эту тему разговоры не заводила. Да и все же, действительно, двадцать три — это не тридцать, хотя и император Александр Третий еще доканчивал свое царствование.

Революционеркой бабушка себя почувствовала в пятнадцать лет. И не гимназия,

конечно, ее наставила на этот путь, не либеральные в меру родители, но старший брат Андрей; «менее старший», как она называла среднего Юрия, к политическим бурям в стране и в мире вообще был равнодушен и избрал военную стезю. Тем не менее и получивший естественное университетское образование в Москве Андрей, и только что окончивший там же юнкерское училище Юрий — оба оказались на позициях Империалистической: младший по присяге и первому офицерскому чину, старший, как предполагала бабушка, в шестнадцатом году ушел вольно-определяющимся по заданию эсеровской партии.

Перед самой революцией отец семейства вышел в отставку, причем не со столь уж высокой должности, и в оды Гражданской войны работал тоже на невинном месте в заводууправлении. Завод был сугубо нужный для Советской власти, военный, управлялся прямо из Москвы, поэтому местным комиссарам разгуляться там не давали, да и ленивы они были в этом политически тупиковом городе: новую власть приняли равнодушно, купцы как-то рассеялись и затаились, а дворян и вовсе было мало. Так что родители бабушки тихо и спокойно жили в своем поместительном доме на бывшей Стародворянской почти до начала сталинских пятилеток. Умерли также тихо и почти одновременно. Братья же Виктории Ильиничны, хотя и по разным причинам и разными путями, уцелели в войнах и революции, но следы их затерялись в эмиграции. Даже в относительно спокойные двадцатые годы — красный террор утих, а психоз повальной подозрительности еще где-то вдалеке только маячил — они не давали сестре о себе знать. Только перед самой войной Викторию Ильиничну вызвали в спецотдел обкома и под очень строгую расписку дали почитать письмо... от Андрея, действующего резидента ГРУ ГШ\* «в одной из стран вероятного противника», как он сообщал. Тем же — по его словам — занимался и Юрий, но в другой стране.

И здесь им повезло: уцелели на своей опасной работе, при чистках ежовщины, в Отечественную войну. Вышли в отставку в середине пятидесятых, жили с семьями в Москве, часто общались там и в родном городе с сестрой, но Лера их даже в раннем детстве не застала уже. Впрочем с детьми и внуками их, своими двоюродными дядьками-тетками и троюродными сестрами (братьев таких не было), бывая в столице, общалась по-родственному, а во время учебы в *МГИК'е* во время сессий и диплома проживала у них.

## **ЛЮБОВЬ МЕЛЬПОМЕНЫ ИЗЛЕЧИВАЕТ АПОЛЛОНА ОТ УНЫНИЯ**

— Я живу только поэзией, а ужин — это проза, — своим театральным контрапунктом передразнила Лера известную героиню «Последней жертвы» Островского, прыснула совсем по-девичьи, — пойдем, милый, на аристократический ужин, который уже и готов.

— Почему аристократический? — Геннадий и не заметил, как задремал на полчаса, а Лера тихонько ускользнула на кухню, а теперь, тихо посмеиваясь, стояла перед постелью в своем любимом шелковом халатике.

— Потому что уже третий час ночи. В это время ужинают только аристократы со сдвинутым рабочим днем и...

— Дегенераты, — в тон вставил Геннадий, окончательно проснувшись и попытавшийся захватить Леру и увлечь ее в постель. Однако не учел струящуюся скользкость шелка; она же ловко увернулась и ловко бросила на вытянутые в шутиливой борьбе руки Геннадия принесенный откуда-то из недр квартиры безразмерный махровый халат добротной старинной выделки:

— Одевайся и пошли, а то до рассвета совсем ничего осталось.

---

\* Главное разведывательное управление Генерального штаба.

— А-а что рассвет? — Геннадий насторожился и непроизвольно зябко повел плечами.

— Не беспокойся, не то о чем подумал по своей исконно мужской глупости. Просто любовникам по классическим романам положено встречать рассвет только-только заснувшими и видящими лишь первый сон, друг о друге, конечно. А заснуть они должны, сам понимаешь, по причине определенного вида усталости. Все, пошли.

Ночной ужин, сготовленный хотя и на скорую руку, но весьма аппетитный, удачно дополненный принесенным ночным же гостем коллекционным массандровским мускатом «Красного камня» и французским коньяком — из запасов тестя — и черной икрой, пришелся явно по вкусу обоим: и махнувшей временно рукой на диету Лере, и никогда не помышлявшему о ней Геннадию. «Фи, что за провинциальные манеры, — подыграла под капризную барыньку Лера, встречая в дверях явившегося через двадцать минут после ее звонка Геннадия и принимая цветы и пакет с вином и икрой, — это я не про цветы, конечно, а про «выпить-закусить». Слава богу, сейчас не гайдарголод начала девяностых, а потом у нас есть Полковник, как он сам говорит: содержатель сразу четырех женщин...» — «Почему четырех, — как-то глупо от неожиданности спросил Геннадий, — ведь твоя бабушка...» — «Четвертая — кошка Машка. Не стой в дверях, проходи. Я думала, ты где-то в первом часу появишься, а ты как штык!»

Хитрила Лера, а по той же неожиданности встречи после долгой разлуки всегда заносчиво дерзила. А после своего звонка не отходила от окна, из которого в быстро темнеющем свете позднего августовского вечера, на помощь котором зажигались фонари, хорошо просматривался противоположный угол проспекта и «интеллигентной» улицы, где до полуночи торговали тротуарные цветочницы. Увидев покупающего там розы Геннадия, улыбнулась, гордая собой и поспешила к зеркалу в прихожей слегка подкраситься и открыть дверь тотчас после его звонка: не любопытствующих соседей, конечно, остерегалась, но чтобы скорее, даже на считанные секунды, увидеть его. Уже чутко слыша его торопливые шаги на подъездной лестнице, подумала об ужине, шаловливо улыбнулась и показала старинному зеркалу в прихожей язык: ужин мужику надо заработать!

А сейчас, ставя на кухонный стол тарелки с содержимым с плиты и холодильника и добавив к принесенным Геннадием бутылкам давний презент своим «содержанкам» Полковника — розовое токайское шампанское, — подумала: не перенести ли сюда из комнаты вазу с розами? Однако решила, что это будет комифо, ибо цветы требуют и ужина при свечах. Свечи-то в доме еще от запасливой бабушки остались, но вот как прореагирует на их зажигание противопожарная сигнализация, которой на дармовщину — от своей охранной конторы — Полковник щедро опутал всю квартиру? Подумав, мысль о цветах оставила, еще раз окинула хозяйским глазом сервировку стола и пошла будить Геннадия. Ужин тот явно заработал...

\* \* \*

— Так. Открывай шампанское и не пялься на мои коленки и грудь, не в первый раз видишь, — маскируя все же проявляющееся смущение нарочитой актерской грубоватостью, Лера кокетливо запахла опустившуюся полу халатика и свела пальцами края декольтированного выреза, — первый тост молча, за что не скажу, второй, но коньяком — за нас, дебильных любовников. И ешь, пожалуйста. Хлеб в бутербродах с икрой поджаренный, потому что вчерашний... нет, позавчерашний уже, ибо днем из дома не выходила. Давай чокнемся.

— А что целый летний день дома делала? — выпив шампанское, спросил Геннадий, про себя же теряясь в догадках: за что или за кого таинственный тост?

— Да многое. Тебя, милый, ждала. С кошкой Машкой разговаривала. В окно смотрела, подперев кулачком подбородок, как девки голосистые и парни ершистые

за околицей выгуливаются. Да, еще бумагу марала. Может как-нибудь и покажу. А что изумляешься? Не одному же тебе трактаты сочинять.

Геннадий поперхнулся икрыным бутербродом, некстати вспомнив при словах Леры о своей злосчастной рукописи, уже третий день замершей на сто пятьдесят седьмой странице. Она же поняла это по-своему:

— Извиняюсь еще раз за хлеб, крошится, ешь аккуратно,— она и не заметила, что говорит в той же интонации, что и с Машей, торопыгой в еде. И он это тотчас отметил, вспомнив как... но внутренне досадливо поморщился, отгоняя сопоставление. И она поняла, что он и в связи с чем понял ее. Поэтому поспешила сгладить невольную взаимную неловкость первым пришедшим в голову:

— Я днем... нет, под вечер уже, поливала цветы, что на окне, выходящем на проспект, и видела, как с синими фонариками, с сиреной сразу пять тюремный машин вверх мчались, наверное, на МТС\*. Такое впечатление, что в нашем сегодняшнем отечестве половина ворует, а вторая — их ловит и сажает. А между ними тоненькая прослойка неумех навроде нас с тобой, да ведь?

— Да, количество автозаков на улицах есть прямой показатель успешности экономических реформ, как любит говорить Николай Игоревич, о котором я тебе как-то рассказывал: мой крестный в «преподской» деятельности. И еще заметь, Лерик, если раньше люди не всегда знали, где их городское узилище располагается, то теперь, благодаря телесериалам, а порой и по личному опыту, имея в виду себя, родственников, круг знакомых, названия и местоположение всех главных тюрем страны знают! Просвещение — велика вещь,— Геннадий также обрадовался отвлеченной теме, мало уместной для ночного свидания, но позволяющей замаять возникшую было неловкость, но тут уже Лера развеселилась:

— Это как мы с тобой в «Кресты» чуть не попали? Ха-ха-ха!

При воспоминании о той давней ленинградской осени души обоих потеплели, неловкость ненужных ассоциаций исчезла, зато нахлынувшие видения, словно сейчас это было, а не почти семь лет назад, начала их странной, но от того еще более прекрасной любви, растопили последние остатки неловкости их новой встречи.

Действительно, смешно тогда получилось. На третий день их проживания в Ленинграде ближе к вечеру, когда по-осеннему уже затемнело, занесло их, гуляющих неторопко вдоль Невы, на Выборгскую сторону близ Финляндского вокзала. Шли, шли и вышли вовсе не в малолюдное место: длинная краснокирпичная стена, ни души вокруг, да еще зябкий ветерок вдоль Невы понесся. Поравнявшись с дверью в стене, наглухо закрытой, остановились, размышляя: что это за стена? А тут дверь с металлическим стукотом отворилась, вышел некто военный в камуфляже, явно навеселе, а от веселости этой разговорчивый:

— Что, ребята, к нам хотите? Не рекомендую.— И разъяснил словоохотливо наивным провинциалкам, что это «Кресты» — питерская тюрьма.

...Теперь же и Геннадий, и Лера, когда от скуки или усталости поглядывали по вечерам на экраны телевизора с их милицейскими сериалами, то вспоминали ностальгически эту стену и дверь, откуда по сюжету выходили на волю выкупленные у юстиции братки, садились в ожидающие их «мерины» и отправлялись дружным трудовым коллективом праздновать в «Европейскую» торжество справедливости.

А Геннадий заодно вспоминал и еще одну историю с прежним, совковым незнанием главных тюрем страны. Еще по первому году работы в институте, тогда не университете, собрался он по своим диссертационным делам в Москву. Завизировал командировку у Николая Игоревича и отправился подписывать ее к проректору по нау-

---

\* «Милиция — тюрьма — стадион»,— принятое в городе *N*. название квартала, занятого этими соседствующими учреждениями.

ке, замещавшему ректора, уже целую неделю пропадавшего в Новосибирске на малопонятном мероприятии с участием первых минвузовских лиц. Тот командировку сходу подписал, но дал попутное поручение:

— Ты одним днем едешь? Впрочем,— проректор справился в бланке командировки с место назначения,— это в центре, потому и по нашему делу успеешь,— надо срочно переправить вот эту папку с бумагами, это просмотренная верстка книги, что мы с кафедрой ракетостроения издаем в Институте информации Минобороны, без грифа секретности, конечно. Я было взялся сам отвезти, собирался завтра в Москву, да оттуда отбой дали. Так что,— проректор опять справился в бланке,— Геннадий Борисович, не сочти за труд закинуть верстку в институт. Он на Каланчевке; как сойдешь с электрички — в пяти минутах ходьбы, прямо за гостиницей «Ленинградская».

Геннадий, прибыв в столицу с первой электричкой, тотчас нашел здание института характерной постройки конструктивизма тридцатых годов, но там уяснил, что проректор не имел полной информации: вахтер-милиционер разъяснил, что институт-то здесь, в этом здании, здесь же в дворе строении и типография, но все издательские службы находятся в другом месте. Нужно выйти из метро «Сокольники» и пройти пару кварталов под горку, в сторону Яузы, а затем на третьем переулке свернуть вправо на Матросскую тишину, пройти по правой стороне несколько домов и... «не заблудишься; увидишь пятиэтажный дом, он там единственный не в линию, а метров на двадцать углублен. Там и издательство».

Поскольку по своим делам ему удобнее было явиться пополудни, то Геннадий, слегка досадуя — хотел пару часов походить по книжным магазинам,— пошел на метро. Видимо, он раньше, чем было нужно, свернул направо, ибо пошел по какой-то криволинейной узкой улочке, в конце концов упершись в приземистое длинное здание с вывеской «Баня». Пришлось расспрашивать встречных-поперечных. И здесь он отметил какую-то странную реакцию расспрашиваемых: при словах «Матросская тишина» мужики снисходительно усмехались, а пожилые женщины сочувственно теплели голосами.

Методом расспросов, проб и ошибок он таки-нашел нужный дом, отыскал в нем кого следовало и отдал папку с версткой. Редакторша оказалась словоохотливой, пожилой и доброй, поэтому Геннадий рискнул поинтересоваться столь странной реакцией прохожих на название их улицы.

— Так, молодой человек, вон из окна напротив-то тюрьма, которую по улице все и зовут Матросской тишиной. Так что в следующий раз уж и не удивляйтесь; впрочем, назад сейчас пойдете, так запомните, где сворачивать.

Следующего раза не случилось: его издательские интересы были явно не по линии военной техники и науки, а в тюрьму, тем более такого ранга, не было повода обращаться...

Начиная со дней *ГКЧП*, словосочетание «Матросская тишина» обильно полилось из всех рупоров СМИ, но всякий раз Геннадий с улыбкой вспоминал свои поиски совсем не того, о чем думал добрый народ, сочувственно объясняя бедолаге провинциалу, как пройти к скорбному месту.

«Вот ведь менталитет этот самый у русского народа,— изустно при случае и про себя размышлял он,— ни на один другой в мире непохожий: везде тюрьма, преступник — изгойные места и люди, в них пребывающие, а только у нас пелена страдальчества покрывает тотчас всякого, кто переступит приемное отделение заведения подобного профиля. Хотя бы даже убивец со стажем или новейший «олигархер», обокравший полстраны! Как такой *последний народ* не приговорить прагматичному мировому сообществу доллара к ничтожеству и исчезновению...»

\* \* \*

— Ладно, хватит о грустном, которое в то же время веселое, то есть о тюрьмах,— сказала Лера, выслушав рассказ о Матросской тишине.— Я думаю, что хватит нам видеться раз в два-три года, а то и дольше. Ведь я могу и замуж выскочить, а? Не тревожься, теперь не выскочу...

— Из-за меня,— совсем сгруппил Геннадий, но Лера настроилась на серьезное «выяснение отношений»:

— Скорее из-за себя, своего характера. Но и ты здесь далеко не последняя фигура; исключая меня — и вовсе первая... И единственная. Подожди, подожди: обниматься на кухне — это у нас с тобой давно пройденный этап. Ты, пожалуйста, слушай меня. Я хотя и женщина, но совсем не глупая. И не пугайся, я вовсе не имею в виду бабское обычное: семье привет — чемодан — трамвай — здравствуй, Лера, я пришел к тебе навеки поселиться! Естественно, я этого хочу, но, как говорится, воспитание не позволяет. Если бы могла, то сделала это еще лет пять... нет, сразу после ленинградской поездки. Я другой смысл своим словам придаю: мы с тобой люди достаточно взрослые, хорошо понимаем, что быть постоянными, давними и верными друг другу любовниками *a moralite* ничуть не ниже, чем любить в браке. Опять же никто не в силах отменить законы биологии; это я о мужской полигамии. В принципе мы, женщины, в душе и даже в сердце к этому привыкаем, чуть поумнев. А ревность, скандалы? — Это все эмоции. Но при условии, что каждая из женщин одного мужчины уверена, или уверяет себя, что тот любит только ее. Второй момент, Геночка, в том состоит, что любовница не должна покушаться на права законной жены. Понятно, речь идет об умной любовнице, которых, к сожалению, очень и очень мало.

Итак, мое предложение, нет, я уже имею права на тебя по праву проверенной годами любви, а именно: бросать семью не смей, если только жена сама к тебе не охладит. Колдовать здесь я не буду, гарантирую. А Наташку-дрянь,— Лера не на шутку разгорячилась,— забудь. С женой хоть остатки былой любви, или память о ней, а с этой голубоглазой б... у тебя только похоть, говоря высоким стилем. Хватит тебе развлекаться, тем более, что я тебе в этом отношении всех заменю. В конце концов, биология с полигамией пусть таковыми и остаются, но всему есть разумный предел. И здесь я такое колдовство на нее наведу, что мало не покажется. Впрочем, мужская тяга к разнообразию ради самого разнообразия, как отголосок первобытного «осеменителя» рода-племени, должна к середине четвертого десятка затихнуть, перейти к стабилизации привязанности. Так что здесь я почти спокойна.

Давай, милый мой, выпьем по рюмке коньяка на равных — я девушка театральная, тренированная,— так проще о серьезных вещах говорить. Ну-у, что ты как будто все подбираешь слова, все осторожничаешь? Вспомни наш ленинградский медовый месяц, хотя и урезанный, и расслабься.

— Да нет, моя хорошая, какая настороженность? Я еще просто не привык к твоему, как бы это сказать...

— Так и говори: девушка-мажор. Термин сейчас хорошо известный, на слуху. Ничего, кстати говоря, в этом плохого нет. Если, конечно, это не современные старшие школьницы. А и без умных терминов всегда было так: кто каравай на свадьбе большим куском оттянет, тот потом и верховодит всю жизнь. Это так говорится. Либо муж хозяин в доме, но чаще среди городского мещанства — баба. Бой-баба, так и кличут.

— Лера, а что такое очень уж серьезное, как ты говоришь, еще не решено между нами?

— Да вообще говоря, все и сказано, утверждено и печатью скреплено. Только не ЗАГС'овской, но на наших грешных и одновременно безгрешных душах. Могла бы и

не говорить, а от тебя того же дожидаться. Сколько ждала, еще бы подождала, да больше невмочь. Вот храбрюсь, а баба бабой. Ладно, если слезы, то скорее от радости. А если и заговорила, то только затем, чтобы не смущаться, не смешиваться, наталкиваясь на вроде как «запретные» темы: о женах, о детях... о *наших* детях.

Ну, обо мне и Машке мало чего нового узнаешь, даже если ничего толком и не знаешь. Потом как-нибудь исповедаюсь; опять же греха на мне нет. А как в твоём благоустроенном семействе?

— Правильно сказала: благоустроенном. Это смотря с какой стороны посмотреть. Опасная у Егора Трофимовича профессия. Как он сам говорит: впереди еще два великих передела собственности и не менее трех крахов всей нашей финансово-спекулятивной системы. Все это растянется на непредсказуемое число лет. Но еще хуже будет, когда наступит устойчивое неравновесие, или равновесная неустойчивость, что одно и то же. Это будет уже другой мир, другой народ, где все мы будем мастодонтами почти вымершей эпохи.

— Я думала, так все в городе говорят, что его банк из числа солидных, не шарашка одноразовая. Неужели все так серьезно?

— Думаешь, Егор Трофимович, даром что старой партийной закалки, мне исповедуется? Нет, конечно, для моего же и всего семейства блага. А жизнь его многоопытная многому научила; такие люди лучше всяких мегакомпьютеров рассчитываю-предчувствуют на сорок-пятьдесят лет вперед. Как гроссмейстеры свои шахматные ходы. Во всяком случае серьезно к чему-то малохорошему готовится. Впервые, презрев весь свой въевшийся советизм, купил где-то за бугром виллу. Проговорился как-то в хорошем подпитии. Но где — не говорит. Сами, мол, в нужное время узнаете, хотя было бы лучше и не узнавать.

Во-вторых, зная мою щепетильность, вовсе не показную, тем не менее переписал на меня кучу акций, да каких! — «Норильского никеля», «Газпрома», нефтяные и алюминиевые от братишек Черных... Всех понемногу, но в сумме очень даже прилично получается. И все их, включая накапливающиеся дивиденды разместил в двух московских банках, которые ни при каких катаклизмах не сгинут, ибо обслуживают семью Самого, то есть принадлежат им. Сказал: не тебе, конечно, одному. Но всем на всякий-який.

Но главное, что заставляет верить его предчувствиям, так то, что как-то в полной меланхолии распил со мной «по-мужски» почти литровку виски с коньяком и под конец заметил, видно забыв обо мне: «Мне чужого не надо, не той я закалки человек, поневоле в буржуины подался, но если сволочь всякая найдет, то устрою им кидок по высшему разряду!»

— Пошли, Геночка, спать. Уже светает. Жених ты мой завидный! Шучу. Нам чужого не надо, свой Полковник-содержатель имеется. И сам не унывай; я тебя скоро излечу.

\* \* \*

Заснули они уже при взошедшем августовском солнце и спали сном грешных праведников почти до полудня, пока одновременно, словно сговорившись, не запел мобильник Геннадия — издалека, через анфиладу комнат, из прихожей, из кармана его летнего безрукавого холстинкового пиджака, а проголодавшаяся Машка, поводя слегка раскосыми, как у хозяйки, глазами на чужака, вспрыгнула на постель, на непривычно для нее открытую грудь Леры, в жарком дневном сне отбросившей одеяло в ноги.

Открыв глаза, оба на миг засомневались в реальности происшедшего. Первой вернулась на землю Лера:

— Гена, ты что-то про мобильник говорил, не он ли сигналил?

Геннадий кивнул, как-то по-домашнему прикоснулся сухими губами к ложбинке плеча Леры и поспешил гольшом прихожую.

— Если хочешь, дверь за собой прикрой,— сказала вдогонку хрипловатым с ночи голосом Лера, но тот на ходу только отрицательно взмахнул рукой.

Лера же села на край постели, с чувством невесомости тела сладко потянулась, потормошила расположившуюся рядом Машку:

— Что, курноса, завидуешь? Пойдем на кухню, тебя вне очереди покормлю.

Накинув халатик, она и пошла в сторону кухни, предводительствуемая кошкой, поспевающей впереди и поминутно оглядывающейся на хозяйку: верным ли та идет путем?

Занявшись Машкиной едой, Лера не заметила, как в кухонную дверь вошел уже облаченный в давешний махровый халат Геннадий и вздрогнула от не ожидаемого объятия сзади.

— Твой?

— Нет, Егор Трофимович; не зря его ночью я поминал. Сообщил: перелетает из одного царства-государства в другое, в Барселону зачем-то кривая банковских спекуляций поманила. Это чтобы я знал по какому коду звонить в случае чего.

— Понятно. Как-то ты неуважительно о родственнике говоришь. Слушай, покажи мобильник, я их только в сериалах у бандитов видела.

— Ничего, года через три-четыре у любой школьницы и студюозуса будут. Хочешь, тебе организую?

— Думал откажусь? Не-а! — Лера нагнулась, выкладывая из маленькой сковородки разогретую еду в кошачью мисочку, но скорее для того, чтобы задать вопрос не в глаза, как бы притворяясь равнодушной:

— А-а с курорта когда будут звонить?

— Ближе к вечеру. Не озадачивайся, есть договоренность звонить мне только на «бандитский».

— Предосторожность на случай левой ходки к Наташке?

— Не сердись за прошлое. Просто у нас все уже попривыкли к мобилам. Так сказать, трюфели — роскошь юных лет. По Александру Сергеевичу.

— Ладно, больше не буду. Мои вернутся только к концу лета, а у тебя?

— То же самое. Только отпускай меня два раза в день Сократа кормить, и чтобы не одичал, ибо молод еще, всего полтора года. Может с Машкой поженить?

— Две свадьбы в одном доме не бывает. Потом зачем животное с панталыку сбивать. Я понимаю, что шутишь, но лучше маршируй в душ, а я пока что-нибудь приготовлю из остатков ночного. Затем пойдешь общаться со своим котом, потом поедем за город купаться. Как твоя хандра?

— Нет, Лерок, никакой хандры и уныния.

...Совсем изголодавшийся Сократ, не знающий человеческой поговорки о том, что человек предполагает, а бог располагает, совершенно одичавший и почти смирившийся с наступившим сиротством, только к вечеру дождался хозяина. Съевший с урчанием две дневные пайки, кот уже ни на шаг не отходил от Геннадия. Но сон сытости его сморил, а проснулся он уже в наступающей темноте сам-один в квартире. Смирила его с наступившей странной жизнью только доверху наполненная личная миска с едой.

## **БОЛЬШИЕ РАЗЪЕЗДЫ ОЛИМПИЙЦЕВ И ПЕЙЗАН**

Для преподав, как их уничижительно зовут за глаза нынешние студенты, в основном балбесы, укрывающиеся от армии, сентябрь всегда тяжеловат. Во-первых, скывается двухмесячная отпускная расслабленность; во-вторых, еще в большей степе-

ни отвыкли за лето от необходимости что-либо делать, кроме как пиво сосать и девок лапать, и студиозусы. Хотя Геннадий, как умный завкафедрой, свел количество своих лекций к самому пределу приличия, все же облегченно вздохнул поутру тридцатого числа: слава богу, теперь пойдет по накатанному до Нового года!

Затребованные Лерой две недели давно уже минули, но она позвонила и попросила еще фору: «Потерпи, милый; сам повторяешь: удовольствие не в факте, а в его ожидании. И этот «факт» сейчас готовится. Не обижай жену, ее вины ни в чем нет». Геннадий, и без того заинтригованный, совсем терялся в догадках: что там прелестница затеяла? Но в одном у него не было сомнения: никому вреда здесь не замышляется. Поморщился только при упоминании о Свете. Та прямо на глазах превращалась в копию таинственной для него Влады. Уже и Елена Авдеевна жалеючи порой смотрела на зятя, даже как-то сказала: «Потерпи, Гена, это полоса у нее такая; случается у женщин на рубеже второй молодости. И навязалась же эта Влада на ее шею? Той, видимо, надо кем-то руководить и вне работы, раз мужа нет, дочь заграницей, а любовники, так думаю, чрез неделю в панике убегают! А Светка слаба характером, любую общую панику на себя примеряет, страшится неопределенности всего нашего будущего. Терпи сколько сможешь. Одумается».

Жизнь, как любит повторять первый президент страны, становится все более динамичной. Вот этой правды у него при всем усилии не отнимешь. Такая она динамичная, что не удастся подождать и одуматься. Вот и начавшийся октябрь дохнул холодом росстаней. Если раньше разезды готовились годами, то теперь все происходило со скоростью курьерского. И посылалось как из ведра; Света в пору их жениховства уверяла, что это от перевернутой пословицы: посыпалось в ведро, то есть в сильный, частый и прямой дождь. Самое-то существенное — все относилось и к нему: от безразличного и крайне приятного до очень огорчительного.

Как всегда первой ласточкой оказалась Наташа. Позвонила на сотовый, номер которого не преминула спросить в знаменательную последнюю встречу:

— Ты сейчас можешь говорить без маскировки? Хорошо. Звоню на всякий случай, для полезной информации. Хочешь — поздравь, развелась и вновь вышла замуж. Почему быстро? Развод без детей — в полчаса в ЗАГС'е. И там же — следующий ход, для быстроты за отдельную плату.

Ладно, это лирика... что-что? Не беспокойся, мой предбывший усач сейчас в эмпириях пребывает; я не стерва, вместо себя отрекомендовала ту самую, известную тебе спортивную врачиху Лену. Там будет все замечательно: у Ленки есть дочь, младшая школьница, а у усатого то, чего нет у нее: полное материальное благообеспечение. Так вот, я в новом качестве убываю в город-герой Кельн, Германия. Года на полтора-два, а там видно будет. Здесь же буду появляться в отпуск, родителей проведывать, а может и по делам. Тебе чего-нибудь нужно из тех мест?

Здесь Геннадий подал свой голос:

— Да, если не затруднит: книги Зиновьева по математической логике немецкого издания. Это у них просто делается — по заказу в любом книжном супермаркете.

— Хорошо, милый. Адрес твой почтовый как звучит?

— Шлите, пожалуйста, на университет, кафедра философии. Большое спасибо.

— Поняла, целую по-сестрински. Свой телефон сообщу звонком уже оттуда. Не забывай меня.

— Кто это тебе по сотовому звонит? — Света, забыв ради такого случая о совсем недавней ссоре («Пора, наконец, заняться, как все люди, серьезным делом...»), с интересом смотрела на него.

— Не беспокойся, — холодно ответил Геннадий, — не Березовский и даже не Дерипаска. — Чуть подумал и сообщил безразлично:

— Из Москвы знакомый профессор на конференцию в Германию едет. Достаточно?

Света фыркнула и громко сказала в сторону Елены Авдеевны, занимавшейся кухонными делами:

— Мама! Я на пару часиков к Владе забегу. Она вчера из командировки в Финляндию приехала, что-то мне привезла, и на обратном пути за Тришей в школу зайду.

\* \* \*

Через два дня наконец-то позвонила Лера:

— Ты один?

— Да, да, Лерочка, я через парк в университет направляюсь, а ты...

— У меня сегодня до полудня репетиция, затем свободна. Ко мне домой можешь прийти после двух; я к этому времени уже там буду.

— Но-о, а как твои прореа...

— Не задавай вопросов раньше времени. Мне через пару минут на сцену. Приходи, я буду одна. Все, милый.

Лера открыла дверь тотчас после звонка, впустила, крепко прижалась, целуя:

— Я за пару минут до тебя вошла, видишь, даже туфли не сняла. Спасибо за цветы, пошли на кухню поедим. У меня после репетиций дикий голод, хотя и диетический.

Уже достаточно зная ее, Геннадий по такому, искусственно «обыденному» приему гостя понял: ей есть что сообщить очень и очень важное. И маневр с кухней нехитрый: можно говорить, стоя к нему спиной и разогревая на плите взятое из холодильника.

— Так что за домашние дела целый месяц заняли?

— Погоди. Случилось то, что и должно было быть,— начала она, но, обернувшись и увидев побледневшее вмиг лицо Геннадия, рассмеялась:

— Нет, это не о нас с тобой. Без преамбулы и увертюры: у матери третья молодость наступила, а Полковник свой подгородный дом от доходов праведных и исправно налогами легализуемых перестроил в двухэтажный коттедж с гаражом, сауной и прочими удобствами. Крымская поездка привела к явно ожидаемому консенсусу. Итак, новобрачные отбыли в свои роскошные апартаменты, а меня, сирью и несчастную, с собой не взяли, ха-ха!

— А как же дочь, кошка?

Геннадий понял, что глупость сказал и сам рассмеялся. А тут с вежливым мяуканьем вошла и Машка-старшая.

— Как видишь, не одну оставили. Но строго-настрою, по-военному, Полковник велел мне в течение года, не учебного, не календарного, но астрономического, то есть октября следующего года официально или неофициально выйти замуж. А Машку-младшую на этот горько-медовый год взяли с собой с моим правом брать к себе в любое время, приезжать к ней, уезжать и так далее. С пролонгацией до школьных лет. Ну, здесь у меня выбора нет; нанимать бонну на деньги Полковника — его обидеть кровно, а потом кто из Машки вырастет при таком равнодушном воспитании? Ничего, все в дворянской традиции: мать «на театрах» вытанцовывает, а дочь бабка воспитывает. Меня вот тоже бабушка всю жизнь воспитывала, а вроде ничего получилась, а? К тому же Машка в полный восторг от коттеджа пришла. Еще упросила кошку на разживу мне оставить, а для Машки на фазенде уже сибирского котенка и кутенка колли завели. А попросит, так Полковник новобрачный и арабского скакуна или ахалтекинца во двор приведет.

— Может, с дочерью познакомишь?

— Попозже. Ты пока на мне особо не зацкливайся, хотя я — твоя женщина, думаю, навсегда. И, как говорится, со всеми удобствами. Только без приданого, не считая кошки. Теперь слушай меня внимательно: тебе в самом скором времени предстоят большие испытания. Постарайся разрешить их не только сердцем, но и умом.

— Лера! Я сам чувствую, что дома все пошло наперекосяк, но исходной причины не знаю. А ты откуда и что именно узнала?

— Предчувствие, Геночка, предчувствие. Я ведь все-таки потомственная ведунья. А потом, мой милый, раз теперь ты мне самый близкий человек, сообщаю: наш Полковник, когда я согласилась на год им Машку отдать, расчувствовался, назвал меня дочкой и показал висящий, как память о боевых годах, в шкафу свой парадный мундир с наградами. И здесь, как Верка-травести на подработке в *ТЮЗ'е* в роли Гавроша пела: «У них мундиры синие и сабли на боку!» А бывших кагебешников-фээсбешников, как говорят в сериалах, не бывает. В том смысле, что более молодые его сослуживцы еще в запас не вышли, потому владеют информацией.

— Неужели так серьезно? И по чьей линии? По моей, да?

— Дорогой мой, твоя «линия» нужна только тебе, ну и мне, конечно, а синим мундирам ты, извини, абсолютно неинтересен. Ничего тебе сказать не могу, ибо Полковник, расслабившись на новоселье, совершенно случайно упомянул фамилию твоего тестя. Понятно, что даже о нашем с тобой просто знакомстве ни он, ни мать не знают. Потому и фамилия прозвучала. Дело, как следует понимать из контекста, коммерческое. И совсем не по линии этого ведомства, но там привыкли все и обо всех знать.

Большого узнать не смогла. Расспрашивать — сам понимаешь, значит раньше времени все рассказать, а это, как мне кажется, нам с тобой ни к чему. Гена, заклинаю: будь очень осторожен и рассудочен, помни, я тебя буду любить в любом твоём качестве. Это искренно, не тривиальная женская хитрость типа не мытьем, так кантаньем. Думаю, что многие годы нашего знакомства дают тебе основание верить мне. Есть и еще один существенный момент в пользу... но все это в будущем.

И еще; если дело дойдет до очень серьезного, то Полковник по своей линии поможет, а «линия» эта, сам понимаешь, всесильная. Но все же думаю, Егор Трофимович очень даже умен и не последний в городе человек. Сумеет, что называется, малой кровью все разрешить.

Чтобы сгладить гнетущую серьезность разговора, Лера снова и легко перешла в амплу гостеприимной домашней хозяйки и любовной подруги со стажем:

— Заранее не задумывайся. Давай обедать, а потом, милый, я по тебе страшно соскучилась за целый месяц. Подожди секунду.

Лера, присевшая было, встала, открыла нижнюю створку кухонного шкафа и поставила на стол пузатенькую винную бутылку с вьезшейся в этикетку многолетней пылью.

— Мадера коллекционная. Я уже твой вкус изучила. Полковник мне целый ящик различных марок из Крыма привез. Говорит, у бывшего сослуживца, теперь директора гостиницы в Ялте, реквизирует. Наверное, чтобы я мужика поскорее к себе приводила.

В восемь вечера она со смехом еле-еле подняла, не желавшего в полном разомлении никуда уходить, с постели, заставила одеться и за руку повела в прихожую:

— Договорились. Будем играть, хотя и серьезно, в любовников. Дома скажешь, что отмечали вчерашний день учителя. Я не ошибаюсь?

И уже взявшись за ручку двери, серьезно сказала:

— Знаю. Уехала. Разведка донесла. И слава богу, что мне не пришлось вмешиваться. Больше у меня *здесь* врагов нет.

\* \* \*

Гром небесный, а с ним и третьи, самые серьезные ростани и разъезды, грянул вместе с первым устойчивым снегом, то есть в начале третьей декады ноября. В городе все еще изустно и печатно в многочисленных левых и патриотических многоти-

ражках обсуждали нынешнюю Октябрьскую демонстрацию и митинг, впервые за много лет прошедшие, соответственно, по проспекту и на площади перед администрацией области и города, бывшим партийным храмом, чем-то напоминающим Парфенон, только намного побольше, построенный радением Ивана Харлампиевича. А главное — необычное многолюдство, чем-то напоминающее советские времена: несколько оркестров в колоннах демонстрантов, обилие красных транспарантов и флагов, даже какие-то веселые, в меру пьяные парни, одетые в матросские бушлаты на тельняшки, в бескозырках, с бутафорными пулеметными лентами крест-накрест и с муляжами маузеров на поясах. И еще милиция, получившая приказ ненавязчиво стоять вдоль дороги на тротуарах, без дубинок, бронежилетов, касок и автоматов, как то практиковалось, начиная с ритуального штурма Верховного Совета на Краснопресненской. Обезоруженная милиция чувствовала себя поэтому сконфуженной, как бы в нижнем белье расставленная кругами вдоль дороги, потому равнодушно ожидавшая окончания мероприятия.

А все потому, что, во-первых, вместо полностью развалившегося город и область губернатора Стерлядкина, пьяницы и в итоге попавшегося на взятке, в первом же туре выборов эту должность занял убежденный коммунист, человек со всероссийской известностью. Во-вторых, год оказался пиковым в части разрушения всего уклада и хозяйства страны и знаменовался вторым большим переделом захваченной собственности, так что новой, но уже плотно усевшейся в правящие кресла демвласти было явно не до народа. И руководство профсоюза, видимо, обделенное у кормушки, решило показать свои, пока еще не искусственные, зубы. Словом, впервые за много лет вышли на демонстрацию не одни пенсионеры и интеллигенция, но и «его величество рабочий класс», крайне озадаченный регулярной невыплатой зарплаты. Геннадий с интересом, поотвыкше, смотрел на коренных пролетариев города: коротковатых, плотно сбитых, для храбрости выпивших, нарочито громко ругавших власть и свое начальство. В глазах же их играла лихорадочная дерзость: смотрите, мол, какие мы храбрецы, на рожон поперли!

Геннадий усмехался, прекрасно понимая: через год-два «красный» губернатор, разгнав наиболее коррумпированных чиновников и не мытьем, так катаньем призвав к порядку руководство заводов и бюджетных сфер, как-то наладит регулярность выплат зарплаты, и больше коренные пролетарии на этих демонстрациях-митингах не появятся: на Октябрьскую будут водку дома пить, а на Первомай их властные жены погонят совмещать водку с копанием грядок на своих шести сотках... Как раз недавно Геннадий прочитал «Марксизм XX века» Роже Гароди, впервые изданный по-русски, да еще присовокупив свои жизненные наблюдения, понял всю справедливость современного французского философа-коммуниста: какой, к черту, сейчас пролетарий гегемон? Трусливое тягловое животное, даже не зверь, а именно утроба, жаждущая жратвы побольше и пожирней, бабу помясистее для похоти, водяры по вечерам в будни и в выходные-праздники с утра до заката. Нет больше класса-гегемона. Впрочем, современная интеллигенция еще гаже.

Одобрение же тестем, кладезем практической мудрости, его доводов было окончательным приговором — со стороны Геннадия — современному пролетариату, которому, как и прежде, было нечего терять кроме запасных цепей и самогонного аппарата, любовно сварганенного из вынесенной со своего завода нержавеющей стали, что руководство не успело спустить через местных и московских барышников в Польшу и Китай.

— ...И удивляться уже ничему не стоит, даже извилины напрягать для этого, — благодушно рассуждал Егор Трофимович за праздничным столом седьмого ноября, слушая впечатления зятя, только что вернувшегося с демонстрации и митинга, — относись, Гена, ко всему как к должному, не теряя, конечно, чувство юмора. Вот лет

этак через пять и тебя вызовут к ректору, почтенному Генриху Семеновичу, а мы ведь когда-то по молодости с Беркутовым пересекались по партхозделам, и скажет он, отведя глаза в сторону: пришло, мол, Геннадий Борисович, отношение из минвуза, чтобы всех заведующих общественными и экономико-юридическими кафедрами отправить в столицу на трехмесячные Высшие курсы государственного антикоммунизма! И еще дипломную работу, смеясь и плюясь, напишешь под названием «Великий капиталистический интернационализм как антитеза лживому социалистическому братству народов СССР»; последние три слова будут стоять в презрительных кавычках. Вот так-то, брат!

— Все ты, отец, не можешь со своим совковством успокоиться. Все уже по-новому живут, несмотря на временные трудности, исключая некоторых очень уж умных,— при этих словах Света неприязненно посмотрела в сторону мужа,— забыли про всякий коммунизм-социализм.

Егор Трофимович и вовсе пропустил реплику дочери мимо ушей. Елена Авдеевна чуть поморщилась, притворяясь, что покупной соус к сделанному ею цыпленку-табака слишком горек или кислват. А Геннадий и вовсе в последние две недели свел разговоры с женой к минимально необходимому после того, как Света месяц назад в одночасье бросила свою библиотеку и возглавила открытое при своем торговом холдинге Владой рекламное агентство. «Должен же в семье кто-то деньги зарабатывать»,— несколько высокомерно объяснила свой шаг мужу. Вдобавок же демонстративно порвала и выбросила в мусорное ведро пачку исписанных листов — черновики к начатой его два года назад диссертации «N-й край в жизни семьи Шаховских XVIII—XIX веков в краеведческом источниковедении». «Хватит в игры играть, никому эти дефективные степени сейчас не нужны; делом надо заниматься»,— с вызовом ответила она на немой вопрос что-то готовящей на плите Елене Авдеевне.

Теперь все чаще Геннадий оставался на ночь в своем кабинетике, деля ложе диванчика с симпатизирующим ему Сократом. «Правильно все,— глядя по шерстке кота, думал он,— кошки льнут к людям большим или обиженным. Интересно, *ей* уже и мужик не нужен сейчас? Все заменило общение с Владой и зашибание денег своей рекламой?»

...За себя же он не беспокоился; их отношения с Лерой вошли в такую ритмическую гармонию, что он порой с оторопью думал: а не сон ли это? Не раздвоение личности?

\* \* \*

И вот логическая развязка — или завязка? — произошла. В субботний день, завистливо поглядывая на уличное великолепие свежесвыпавшего снега и прекрасного зимнего солнца за окном, Геннадий со вздохом отводил глаза и вновь принимался писать. И по-серьезному завидовал Сократу, что сидел «копилкой» на широком подоконнике в метре от хозяина и немигающе, сузив щелочки зрачков, наверное, до каких-то микрон, смотрел на снег, солнце, весело прогуливающих по улицам людей. Но — охота пуще неволи: Геннадий наконец-то завершал свой трактат, некогда застрявший на злосчастной 157-й странице... впрочем, нет, на счастливой для него странице! Ибо на этом самом листе, фигурально выражаясь, их странная доселе любовь с Лерой перешла в любовь обычную, оттого беспредельно сладостную. Слава числу 157! — Теперь оно талисман для них обоих, как 777 — для античных народов, 555 — для америкосов, 666 — ... понятно для кого.

Число страниц рукописи уже перевалило за полутысячу — вот ведь как любовь вдохновляет! Оставались две завершающие главы, а торопило не столько время, сколько договор на издание с московским издательством. Хотя — в духе времени — и безгонорарный, но ведь могут и передумать?

В квартире приятная тишина: Елена Авдеевна с Тришей на весь день уехали к Андрееву семейству, Света и в выходные не вылезает из своего рекламного заведения: «Капусту девка рубит кочанами,— говорит Егор Трофимович, смирившийся и махнувший рукой,— чем бы дитя не тешилось; одно скверно: уже через год из вроде нормальной женщины превратится в монстра наживы, для которой семья — только балансовые единицы. Вот ведь время какое подлое, вмиг человека, тем более слабую головой бабу, разума последнего лишает. Вот и биология тебе, Авдеевна!»

«Однако, легок на помине»,— чуть поморщился Геннадий, заносивший на бумагу отлично сформулированный оборот, который вмиг как-то скукорожился до простенькой сентенции, вспугнутый размашистым хлопком входной двери, характерным для тестя.

— Гена! Ты дома? — И через минуту Егор Трофимович, предельно озабоченный, вошел к зятю,— разговор серьезный и неотложный имеется. Пойдем на кухню. Такие беседы только под водку ведутся. Хорошо, баб нет, а дописать свое сочинение всегда успеешь.

...И еще видно было, что Егор Трофимович решает: в какой интонации и манере вести разговор. Отметил еще Геннадий: тесть взял с собой в кухню и свой служебный портфель, чем-то туго набитый. Выпив, не чокаясь, стопку, Егор Трофимович сходу ошеломил зятя:

— Случилось то, что и должно было быть. Мне же все ясно стало еще весной, поэтому за лето и осень все пути отступления и обороны загодя подготовил: помнишь мои странные летние вояжи по европам, загранпаспорта для всех, еще и визы свежие в этом портфеле, твои акции и прочее. Говорить вам, и вообще никому, Андрею в том числе, было ни к чему, вам же спокойнее было, а сейчас момент истины наступил — не хуже чем в книге Богомолова; кстати, тот был когда-то моим знакомцем, но это к делу не относится.

Егор Трофимович, судя по завязке, все собирался с духом. И собрался:

— Не буду антимонии разводиться и тебе первому и последнему всю правду скажу, а бабам — ее четвертую часть и ту, что касается только их. И еще одно, последнее предисловие. В случившемся, коль скоро для всех вас беспокойство исходит от меня, моей же вины нет. И вообще ничьей, исключая наше волчье время. Может и мой идеализм определенный роль сыграл: дескать, решил, пусть лучше я у одной из кормушек постою, зато с полдюжины хапуг-рвачей с носом останутся. Вот и доидеализировался. Словом, Гена, попал я в ситуацию, когда два выхода — и без намеков на какую-нибудь альтернативу: либо всего, до копейки, лишиться и еще на старости лет схватить пятерик, а то и поболее, отсидки, или же всем нам — о тебе отдельный разговор — уехать за границу и жить на хорошо подготовленной запасной позиции: вила с садиком-огородиком на Средиземном море, Авдеевне давно пора со своей медициной заканчивать, пусть внука воспитывает, на Светку надежды теперь мало. Кстати, пусть и она там со своим «бизнесом» покрутится, раз ей нравится. Тришке — рядом русская школа, еще с белогвардейских времен. И все это, естественно, лет на двадцать оплачивается со счетов солидных банков Европы, открытых на меня, Авдеевну и Светку. На тебя нельзя; боюсь этим подкузьмить тебе, а потом есть определенные тонкости при оформлении счетов на Западе с учетом степеней родственности.

В этом случае нам лет пять будет закрыт въезд в Россию, но — дано кому следует и сколько следует — уголовного и бандитского преследования не будет. Обратная картина, как уже сказал, если мы останемся здесь. Я-то ладно, но ведь велика опасность наезда братков на женщин. И совсем уж страшно даже про Тришку подумать. Сам понимаешь, сейчас завершается второй передел наворованного в стране, беспредел полный.

— Извиняюсь, Егор Трофимович,— внутренне похолодевший Геннадий восполь-

звался паузой тестя, разливающего по второй,— я так понимаю, что вас крупно кинули, как это сейчас говорят?

— Отнюдь, Гена, это я их очень крупно и не менее умно кинул, раз обеспечил себе индульгенцию, если не буду мозолить кому не надо глаза здесь. Они не меньше моего от хлопка банка, да даже и не нашего филиала, а московского, получили. То есть своеобразная воровская круговая порука получается. И не я один за бугром окажусь! А не участвовать в этом паскудном деле я не мог, раз в эту систему попал; это уже закон волчьей стаи. Не согласился бы — вот тебе и первый вариант: нищета, бандиты, а мне отсидка. Теперь все знаешь, а подробности в мемуарах когда-нибудь опишу. Помирать сюда приеду в любом случае. Баб вечером в известность — без всякого согласия и обсуждений — поставлю. Думаю, что только Авдеевна огорчится, но скоро привыкнет. Там. Самый щекотливый вопрос, Гена, с тобой: едешь? Можешь подумать до вечера, пока все соберутся. А выезжать надо срочно. Билеты на самолет уже у меня на среду, а в пятницу во всех новостях по ящику и радио дикторы захлебнутся от радости скалозубной: три крупных столичных банка сдохли; на экранах — скорбные очереди вкладчиков. Но к сердцу не бери — это все нанятая массовка, а реальные вкладчики — крупные воры; они еще стократ наворуют. Словом, вор у вора дубинку украл... хотя бы с невольный вор, как я.

— Нет, Егор Трофимович, не поеду, не думайте, что сына и... жену бросаю, но...

— А никто и не думает. Можешь хоть каждую неделю туда летать, деньгами обеспечу. Тришка под самым что ни на есть присмотром, не безотцовщина, а через пять лет, может и раньше, сюда вернется. Со Светкой сам решай. И не думай, что дочь, то да се. Для меня вы с ней равны, а в жизни всякое бывает. И я тебя прекрасно понимаю, зачем тебе, взрослому мужику, ломать свою жизнь, если это можно не делать, не отказываться от основного назначения мыслящего человека. Все понимаю. На другой ответ не надеялся, поэтому давай о делах, касаемых тебя.

Егор Трофимович разлил остатки по стопкам, но не выпил, а поднял с пола, поставил на колени портфель, расстегнул замки, начал поочередно доставать его содержимое и класть перед зятем на стол:

— Оформленные документы на квартиру, гараж, машину, дачу. Загранпаспорт твой, помни, надо продлевать. Там сроки указаны. Вот родственная виза во Францию; там же пояснение, как ее отмечать в посольстве при поездках. Это минутное дело без очередей и ожиданий. Еще один мобильник для связи с нами. Прежний пока не используй для этого дела, тем более домашний телефон. Сам понимаешь, почему; любознательных много, хотя это ничем и не грозит.

На твои акции и дивиденды в «семейном» банке никто не покусится. Кстати, базовый капитал я там в пять раз увеличил. Но лучше, чтобы внимания не привлекать, первый год ничего оттуда не бери. А возьми вот,— Егор Трофимович поднатужился и распростертой пятерней вытащил обандероленный «кирпич»,— здесь прямо от печатного станка в Нью-Йорке сотенка тысконок американских денег. На житье-бытье, не скупись, но и не транжирь. Делом занимайся. На всякий случай здесь не храни, но и в банк какой не клади. Найди схорон. Да, насчет Андрея не бери в голову, он завтра поболее твоего получит. Кстати, в случае чего не стесняйся его услугами по охранной части пользоваться. Но думаю, что до этого не дойдет. Ты в этом моем деле сторона и вообще фигура умолчания. Та-а-к, вроде все. Иди все отнеси в свой стол, а потом займись готовкой, у тебя это хорошо получается. Но прежде сбегай в гараж и принеси из багажника баул: там выпивка в большом количестве и разносолы для женщин. Будем с тобой пьянствовать сегодня и завтра. Двигай!

